

Библиотека Российской академии наук

# **БИБЛИОТЕКА И СУДЬБА: А. Б. НИКОЛЬСКАЯ**

**Сборник материалов  
к 120-летию со дня рождения**

**Составитель В. П. Леонов**



Санкт-Петербург  
2019

УДК 929  
ББК 83.3(2)6-8  
Б59

**Рецензенты:**

*В. С. Соболев, доктор исторических наук, заведующий сектором  
«Истории АН» Санкт-Петербургского филиала Института  
истории естествознания и техники Российской академии наук,*

*А. Ю. Следков, доктор биологических наук,  
член Союза писателей Санкт-Петербурга*

**Библиотека и судьба:** А. Б. Никольская / сост., автор предисловия и 1-й части В. П. Леонов. – Санкт-Петербург : БАН, 2019. – 224 с.

В книге на малоизвестном фактическом и биографическом материале прослежен жизненный и творческий путь талантливого палеографа, текстолога, переводчика, литератора Анны Борисовны Никольской (1899–1977), чья профессиональная деятельность начиналась в 1932 году в Рукописном отделе Библиотеки Академии наук СССР, но затем трагически оборвалась. Анна Борисовна разделила все превратности судьбы, выпавшие в 1930–1940-е годы на долю многих тысяч без вины виноватых советских людей. В книге также собраны отзывы современников о ее литературном творчестве. В заключительном разделе представлены отдельные, наиболее яркие произведения автора. Впервые раскрыты некоторые архивные материалы, которые могут быть использованы для изучения истории Библиотеки РАН.

Издание адресовано специалистам гуманитарного профиля, а также всем, кто интересуется отечественной наукой и культурой.

ISBN 978-5-336-00258-4

© Библиотека Российской  
академии наук, 2019

© Леонов В. П., сост. 2019

---

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |     |
|--|-----|
| <b>Предисловие</b> .....   | 7   |
| <b>Часть первая. Линия жизни Анны Борисовны<br/>Никольской (1899–1977)</b> ..... | 9   |
| <b>Часть вторая. О творчестве А. Б. Никольской<br/>рассказали:</b> .....         | 41  |
| Всеv. Иванов .....   | 42  |
| К. Паустовский .....   | 43  |
| Мих. Слонимский .....  | 44  |
| А. Жовтис .....  | 45  |
| М. Ауэзов .....  | 50  |
| С. Юрский .....  | 53  |
| Т. Иванова .....   | 55  |
| Н. Иванова .....   | 56  |
| Г. Петрова .....   | 57  |
| В. Курбатов .....  | 58  |
| Н. Кузьмин .....   | 59  |
| В. Кавторин .....  | 60  |
| К. Кешин .....   | 63  |
| <b>Часть третья. Из литературного наследия<br/>А. Б. Никольской</b> .....        | 69  |
| «Передай дальше» (рассказ) .....   | 71  |
| «Геленджик» (повесть) .....  | 81  |
| «Иннокентий Васильевич» (рассказ) .....  | 177 |



Анна Борисовна Никольская, 1948 г.

*История Библиотеки Академии наук, как и любой другой библиотеки, это не только книжные фонды, читатели, но и сотрудники, которые творили ее историю. Им и посвящается настоящая книга.*

---

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Впервые я познакомился с биографией и творчеством Анны Борисовны Никольской в конце 1990-х годов, когда собирал материалы для книги «Судьба библиотеки в России»<sup>1</sup>. Впечатления о прочитанном долго не покидали. Было ощущение, что я увидел Анну Борисовну в ситуации, когда предельно обнажается духовная сущность человека. С тех пор я неоднократно возвращался к образу и судьбе А. Б. Никольской по разным причинам и на разных этапах изучения истории БАН. Книга о ней ждала своего часа.

Истинное значение созданного А. Б. Никольской и сила творческого таланта автора стали особенно остро востребованными, когда ее не стало. Возник и продолжается интерес к личности и наследию. Хотя Анна Борисовна проработала в БАН недолгое время, но сила притяжения оказалась взаимной. Какой глубокий след могла оставить ее деятельность в истории Библиотеки, если не была бы сломана жизнь!

Бесконечным уважением к Анне Борисовне Никольской как к человеку и профессионалу продиктована данная работа. Наш долг – сохранить память об этой удивительной русской женщине и передать дальше!

Выражаю благодарность коллегам и сотрудникам БАН за помощь и поддержку в подготовке и издании настоящей книги.

*Составитель и автор первой части книги В. П. Леонов*

---

<sup>1</sup> Леонов В. П. Судьба библиотеки в России. Роман-исследование. – Санкт-Петербург: БАН, 2000. – С. 285–296.

---

---

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ЛИНИЯ ЖИЗНИ АННЫ БОРИСОВНЫ НИКОЛЬСКОЙ (1899–1977)

1 (14) декабря 2019 года исполняется 120 лет со дня рождения Анны Борисовны Никольской. Это была незаурядная и мужественная женщина – литературовед, лингвист, палеограф, библиотечарь, текстолог, переводчик, писатель, поэт, педагог. Ее имя должно войти в золотой фонд русской культуры.

Судьба человека есть его пересечение с историей, его жизнь в истории. Судьба одарила Анну Борисовну множеством талантов, блистательным образованием, но при этом заготовила и тяжкие испытания. Ее вина состояла в том, что она родилась в интеллигентной семье известного профессора права, монархиста по убеждениям Бориса Владимировича Никольского (1870–1919).

О жизни и творчестве Анны Борисовны Никольской в 60–80-х гг. ушедшего столетия был опубликован в периодических изданиях Казахстана ряд статей. Упоминания о ней содержатся в других различных работах ее современников – преимущественно литераторов. В них с большим уважением характеризуются ее переводческая деятельность, литературные труды, ее многотрудная и многострадальная жизнь<sup>1</sup>. В 2007 году вновь

---

<sup>1</sup> Ровенский Н. Передай дальше // Ровенский Н. Талант и провинциальность: Литературные портреты и статьи. – Алма-Ата, 1966. –

прошли публикации, посвященные личности А. Б. Никольской. Это было связано со знаковой датой – 30-летием ее ухода. Имя Анны Борисовны есть в Казахской энциклопедии и в справочнике «Писатели Казахстана 1917–1967» (Алма-Ата, 1969. С. 232). Примечательно, что в современной Алма-Ате ее именем названа улица, где она когда-то снимала «угол» для проживания.

Краткие сведения о А. Б. Никольской приводятся в «Биографическом словаре сотрудников Библиотеки Российской академии наук» (СПб., 2014. Т. 13. С. 529). Хронология жизни и творчества, как и ее отца Б. В. Никольского, также отражена в биобиблиографическом словаре «Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги» (М., 2005. Т. 2. С. 645–650).

Неожиданным стал проект исследования «Диалог культур: Анна Никольская и Мухтар Ауэзов», выполненный в 2018 г. учителями и школьниками 9 класса «Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления» г. Уральска.

---

С. 61–66; Анов Н. Анна Борисовна Никольская: К семидесятилетию со дня рождения // Простор. – 1969. – № 12. – С. 64–67; Устинов А. А. Образ повествователя (О рассказах А. Никольской) // Устинов А. А. Точка опоры. – Алма-Ата, 1982. – С. 385–388; Жовтис А. Л. Передано людям... Об Анне Никольской // Простор. – 1987. – № 10. – С. 127–133; Степанян К. Уроки беспощадного милосердия // Лит. Россия. – 1987. – 25 дек.; Иванова Т. Передай дальше // Огонек. – 1987. – № 7. – С. 20–21; Иванова Н. Легко ли быть? // Дружба народов. – 1987. – № 5. – С. 231–233; Иванова Н. Б. Точка зрения: О прозе послед. лет. – М., 1988. – С. 386–389; Чернова А. Казахское небо: Об А. Б. Никольской // Лит. газета Казахстана. – 2007. – 12 нояб.; Кешин К. Святая Анна [Электронный ресурс] // Лит. Алма-Ата: Альманах. – 2007. – № 11. – Режим доступа: <http://almatylit.ucoz.ru/publ/9-1-0-150> (дата обращения: 31.05.2019); Кунаев Д. Об Анне Никольской – переводчице великого романа Мухтара Ауэзова [Электронный ресурс] // Новая газета. Казахстан. – 2017. – 23 февр. – Режим доступа: <https://www.novgaz.com/> (дата обращения: 31.05.2019).

Как сообщают авторы, «они собрали и тщательно изучили материалы, связанные с жизнью и деятельностью А. Никольской, прочитали произведения писательницы, изучили ресурсы о казахстанском периоде жизни, когда она работала над переводом романа М. Ауэзова „Путь Абая“, провели опрос учителей и учащихся»<sup>2</sup>. Цель проекта заключалась в желании рассказать широкому кругу читателей об Анне Борисовне Никольской и ее вкладе в развитие межнациональных отношений, взаимопонимания и дружбы народов. Ценно, что этот проект пришел из города, который отделяют от бывшей столицы Казахстана сотни километров.

Тень Бориса Владимировича – потомственного дворянина, преследовала Анну Борисовну всю жизнь. Его отцом был сын священника, выпускник духовной академии, инспектор Императорского лицея, профессор словесности и пушкинист Владимир Васильевич Никольский (1836–1883)<sup>3</sup>.

Историки отмечают, что Борис Владимирович Никольский являлся разносторонним человеком. Полемист, владеющий ораторским даром; публицист, чьи выступления в печати не оставляли равнодушной публику: непревзойденный университетский преподаватель, знаток русского и римского права, переводчик Катулла на русский язык; пушкинист; поклонник таланта А. Фета, собиратель его рукописей; критик и историк литературы; первый редактор стихов А. Блока; поэт, искавший утешение в поэзии даже в трагические для России дни<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Жумагамбетова Н., Кашпаева А. Диалог культур: Анна Никольская и Мухтар Ауэзов // Международный школьный научный вестник. – 2018. – № 2. – С. 86–93.

<sup>3</sup> По совету Владимира Васильевича его друг композитор М. П. Мусоргский сочинил оперу «Борис Годунов». См.: Орлова А. А. Мусоргский в Петербурге. – Л.: Лениздат, 1974. – С. 108–109.

<sup>4</sup> Стогов Д. И. «Ничто мне в этом мире не забава, и жизнь мне ряд трудов, а не утех»: Б. В. Никольский // Знаменитые университеты:

Велики заслуги Б. В. Никольского как книжника, собирателя и хранителя одного из ценнейших в России частных книжных собраний. Испытав еще в юности власть книг, он навсегда остался страстным библиофилом<sup>5</sup>.

Основу библиотеки Б. В. Никольского составила библиотека Александра Иванович Мишина (1814–1859), инспектора Петербургской духовной академии. По его завещанию библиотека перешла к отцу Б. В. Никольского, который, можно предположить, был любимым учеником А. И. Мишина и стал преемником в академии.

Библиотека содержала книги по русской истории и истории словесности, языкознанию, всеобщей литературе, истории церкви и богословию, педагогике. Особенно примечательными были отделы «Слова о полку Игореве»; фольклора; русской «Шекспирианы». «Римский раздел» содержал наиболее полное не только в России, но и в мире собрание сочинений по римскому праву, которое могло соперничать по богатству с крупнейшими публичными собраниями Англии, Франции.

Лучшими после «Римского раздела» были библиографический и отдел по истории науки. Библиографии Никольский придавал особое значение. Отдел состоял из богатейшей коллекции печатных каталогов библиотек, частных книжных собраний, справочников, антикварных и книготорговых каталогов, трудов библиографов. В целом библиотека насчитывала более 60 000 названий! «Какое сокровище – моя библиотека» – писал Никольский в июле

---

Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. – СПб., 2005. – Т. 3. – С. 239–261; Соколов Б. И., Соколова С. В. Борис Владимирович Никольский // Очерки по истории финансовой науки: Санкт-Петербургский университет. – М., 2009. – С. 299–311.

<sup>5</sup> Грин Ц. И., Третьяк А. М. Б. В. Никольский (1870–1919): Судьба ученого, книжника на изломе истории // Публичная библиотека: люди, книги, жизнь: сб. ст. / РНБ. – СПб., 1998. – С. 46–57.

1917 года<sup>6</sup>. Тем не менее, необходимость добывать средства для существования семьи заставила Б. В. Никольского задуматься о продаже библиотеки. Он предпочитал переход всей библиотеки в собственность одного из провинциальных университетов, рассчитывая на место хранителя.

Все это дает ему право войти не только в политическую историю России, но и в историю науки и культуры.

Особенно заметный след Б. В. Никольский оставил в истории правомонархического, черносотенного движения. Непримиимый монархист, один из лидеров черносотенного «Русского собрания», активный член «Союза Русского народа», Никольский был в числе тех, кто в 1900-е годы пытался переломить ход событий, вернуть их в прежнее русло. Однако его политические взгляды были вполне умеренными и не содержали в себе радикальных, «погромных» идей. Вместе с тем Б. В. Никольский до конца дней был предан своим идеалам. Практически по всем вопросам имел личную точку зрения. Невзирая на ожесточенную критику со стороны либеральной интеллигенции, всегда писал и говорил так, как думал. Он искренне любил Родину – Россию и видел свою миссию на земле в служении Отечеству.

Еще в 1889 году Никольский записал в дневнике: «Папа был славянофил и патриот в лучшем и благороднейшем смысле этого слова – и теперь передо мной встает тот же идеал, которого он был осуществлением»<sup>7</sup>.

К 1910 году Борис Владимирович отошел от политической деятельности и стал заниматься исключительно научными изысканиями, работая преимущественно в Юрьевском университете.

---

<sup>6</sup> Там же. – С. 47.

<sup>7</sup> Цит. по: Знаменитые универсанты... С. 241.

Однажды в доме Никольских с сестрой Бориса Владимировича Ольгой познакомился его ученик Рубен Абгарович Орбели (1880–1943) – будущий юрист, теолог, историк науки, библиотekarь, основатель подводной археологии в нашей стране. Вскоре они стали мужем и женой, несмотря на разные вероисповедания. Здесь необходимо сделать небольшое, но очень важное отступление.

Братьями Рубена были выдающиеся впоследствии советские академики – физиолог Леон Абгарович Орбели (1882–1958) и востоковед Иосиф Абгарович Орбели (1887–1961). О научных достижениях, человеческих качествах, традициях этой армянской семьи, род которой уходит в начало XII века, существует обширная литература. Достаточно напомнить, что их имена увековечены в разных городах России и за ее пределами, создано Общество «Мемориал имени братьев Орбели».

Братья почитали старшего Рубена не только по возрасту, но и за глубокий, пытливый ум, обширные знания во многих областях, владение двенадцатью иностранными языками, хотя он не имел научных степеней и ученых званий.

Окончив юридический факультет Петербургского университета и Иенский университет в Германии, Рубен вынужден был после 1917 года работать в различных учреждениях и организациях Петрограда (Ленинграда), Тамбова, Кисловодска, спасая семью от гражданской войны, разрухи и голода.

4 июля 1924 года по направлению Биржи труда Рубен Орбели обратился в поисках работы в Библиотеку Академии наук. Он получил должность помощника библиотekarя, через два года – библиотekarя и даже был избран председателем местного комитета. В БАН он проработал по 1934 год<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Подробно о личности Р. А. Орбели см.: Следков А. Ю. Рубен Абгарович Орбели. Мыслитель // Клио. – 2019. – № 2 (146). – С. 167–175.

Именно семья Рубена Орбели и его братьев, а затем дочери Русудан Рубеновны и ее мужа Алексея Петровича Мандрыка, внушки Оленьки Мандрыка стали опорой в испытаниях, которые в дальнейшем выпали на долю Анны Борисовны Никольской.

Обратимся к судьбе Бориса Владимировича Никольского. Она оказалась трагической, как и для тысяч людей с такими же взглядами. Весной 1919 года он был арестован и расстрелян. А тело, о чем записала в дневнике З. П. Гиппиус, было скормлено зверям зоологического сада<sup>9</sup>.

Журнал «Вестник литературы» опубликовал (с опечаткой) следующую заметку<sup>10</sup>:

**«Библиотека Б. Н. Никольского»**

*После расстрелянного проф. Б. Н. Никольского, осталась колоссальная библиотека, чрезвычайно разнообразного содержания и замечательная по своему подбору. В состав ее вошли библиотека отца покойного – профессора В. В. Никольского (преподававшего русскую словесность в лицее), а также библиотека редактора «Исторического Вестника», С. Н. Шубинского (на дочери последнего был женат Б. Н. Никольский).*

*В библиотеке чрезвычайно богато представлен юридический отдел и, в частности, средне-вековые глосаторы римского права. Есть издания, которые составляют величайшую редкость и которых не найти ни в одной из европейских библиотек, книги – уникалы. Уникалами является целый ряд изданий «Эльзивир» и «Альдины», римских и греческих*

---

<sup>9</sup> Гиппиус З. И. Петербургский дневник. 1914–1919 // Гиппиус З. И. Живые лица. – Тбилиси, 1991. – Т. 1. – С. 187–188.

<sup>10</sup> Библиотека Б. Н. Никольского // Вестник литературы. – 1919. – № 7. – С. 11. Ошибочно указаны инициалы «Б. Н. Никольский» вместо «Б. В. Никольский».

классиков. Отдел по римскому писателю Катутлу заключает такие издания, которых нельзя достать не только в библиотеках, но которые даже не помечены в библиографических указателях, самых подробных. Велик также отдел библиографии русской литературы. Продажная цена библиотеки по современной цене не меньше 2–3 миллионов.

Библиотека помещается в двух больших квартирах, в огромных шкафах и снабжена великолепным каталогом.

В настоящее время она передана центральному комитету библиотек Республики. Все книжное богатство будет распределено между главными русскими книгохранилищами. Часть получит Публичная библиотека, библиография пойдет в Книжную Палату, а остаток будет отдан государственному книжному фонду, для соответственного распределения между различными высшими учебными и научными учреждениями.

В состав комитета по приемке библиотеки входят представители публичной библиотеки, Книжной Палаты, Академии Наук и Библиотечного Отдела Ком. Н. Пр.

Историческая справедливость восторжествовала с большим опозданием. «Следственное дело» Б. В. Никольского было пересмотрено только в июле 2002 года Военной прокуратурой Северного Флота. Он был полностью реабилитирован<sup>11</sup>.

После гибели Б. В. Никольского его семья осталась в глубокой нищете. Анне в ту пору едва исполнилось 18 лет. (Дома ее звали Ашенька). Вскоре после смерти отца она поехала в Москву к крестному отцу, дальнему родственнику и другу юности Бориса Владимировича Георгию Васильевичу Чичерину, который еще до 1917 года стал видным деятелем социал-демократического движения, а в советское время – народным комиссаром иностранных дел. В автобиографических заметках

<sup>11</sup> Знаменитые универсанты... С. 259–260.

она вспоминает, как Г. В. Чичерин повез свою крестницу «на автомобиле» к одному из руководителей Советского государства. Выслушав и расспросив Анну об отце, семье, о делах и планах, он с грустью заметил: «Бедное дитя, трудное выпало время вашей молодости. Часто вам придется быть без вины виноватой»<sup>12</sup>.

Так оно и случилось. Настали годы нелегкой трудовой жизни. Окончив с золотой медалью еще летом 1917 года Александровский институт – среднее привилегированное учебное заведение для благородных девиц, она была принята на работу переводчицей в военно-научный отдел Всеобща (Всеобщее военное обучение). Чтобы заработать трудовой стаж для поступления в университет, Анна отправилась на Волховстрой. Там она сначала преподавала русский язык и литературу на профсоюзных рабочих курсах, затем была избрана в руководящий состав Рабочего комитета девяти тысячного коллектива. Потом были Ленинградский университет, аспирантура, научная работа в Академии наук, преподавательская деятельность (Государственный институт истории искусств, общеобразовательная школа Дома Ленсовета, курсы при Облпрофсовете, вечерняя совпартшкола Петроградского района).

Свободно владея французским, немецким и славянскими языками, Анна начала заниматься переводами. В числе первых работ был перевод с французского романа Жоржа Дюамеля «Принц Жаффар» (Л., 1925. 176 с.). Были опубликованы ее научные статьи: «О стиле «Слова о полку Игореве» (Известия отд. русского языка и словесности Академии наук. 1925. Т. 30); «К вопросу о пейзаже в древнерусской литературе» (Сборник отд. русского языка и словесности Академии наук. 1928. Т. СІ.

---

<sup>12</sup> Цит. по: Жовтис А. Передано людям... Об Анне Борисовне Никольской // Простор. – 1987. – № 9. – С. 128.

№ 3); «Слово Илариона Киевского в позднейшей литературной традиции» (Slavia. 1928. R. VII. S. 3; 1929. R. VII. S. 4)<sup>13</sup>.

Аспирантка известного литературоведа, академика Владимира Николаевича Перетца (1870–1935), участница его семинара, она успешно занималась диссертацией, подготовив для публикации серьезные работы: «Очерки по истории стиля древнерусской литературы»; «Очерки обрядовой песни зимнего цикла у славян»; «Песни Полтавщины».

Диссертация была посвящена древнерусской поэзии. Известно, что об этом исследовании положительно отзывался А. В. Луначарский. Он отметил его новизну как одного из первых марксистских исследований древнерусского искусства, ходатайствовал об издании и даже планировал написать предисловие<sup>14</sup>.

1 мая 1932 года, как записано в «Трудовой книжке», А. Б. Никольская была зачислена на должность библиотекаря Библиотеки Академии наук СССР, а с 1 января 1933 года – переведена на должность старшего библиотекаря<sup>15</sup>. Пропуском в библиотеку послужила рекомендация академика Николая Яковлевича Марра, который был непосредственным учителем младшего брата Рубена Орбели – Иосифа. Немаловажным явился факт, что директор Библиотеки Иннокентий Иванович Яковкин жил в одном доме с Анной Никольской (ул. Восстания, 20).

Так на короткое время вошла в ее жизнь Библиотека Академии наук СССР, сыгравшая роковую роль в дальнейшей судьбе. Надо сказать, что обстановка в БАН в начале 1930-х годов была чрезвычайно сложной в связи с «Академическим делом (1929–1931)». «У нас в библиотеке трудно и тяжело, – писал член-корреспондент АН, историк литературы, палеограф,

<sup>13</sup> Личный листок по учету кадров БАН хранится в архиве БАН.

<sup>14</sup> Ровенский Н. Талант и провинциальность. – Алма-Ата, 1966. – С. 61.

<sup>15</sup> Трудовая книжка хранится в архиве БАН.

заведующий IV (Рукописным) отделением Всеволод Измайлович Срезневский Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу 8 января 1930 г. – *Многие новые люди, и между ними далеко не все удовлетворительны. Сменивший Платонова – помощник директора Публичной библиотеки Яковкин – не лучше своего предшественника, даже, пожалуй, хуже... я все время жду удара из-за угла... Вы знаете, как дорого мне Рукописное отделение, мною созданное, ведь это плод моей жизни»*<sup>16</sup>. В другом письме Срезневский отмечает, что *«здесь все делается шито-крыто, почему-то необычайно поспешно, без проверки»*<sup>17</sup>.

О решении Политбюро, принявшего 5 ноября 1929 г. специальное решение в связи с так называемым «обнаружением» в Библиотеке Академии наук «политических» документов, Срезневский знать не мог и поэтому оценивал все происходящее как неразумные инициативы И. И. Яковкина и его окружения.

В письме В. Д. Бонч-Бруевичу от 20 июня 1931 г. он пишет: *«Мое положение в Библиотеке опять стало шатким; видимо, моему начальству очень я не по нутру. Вы знаете ведь, что литературный состав Рукописного отделения в нынешнем году очень изменился... Все это делается чисто академической комиссией, главным образом библиотечным начальством в лице директора Яковкина и ученого секретаря Гуковского, в обоих случаях без всякого моего участия... Я знаю, что директор Яковкин, о действиях которого против Отделения и против меня лично я писал Вам в прошлом году, спит и видит как бы удалить меня из Библиотеки... Он похитрее Платонова, ведет линию может быть более верную: он всячески льстит моему товарищу, старается, обходя меня как лишнего, всту-*

---

<sup>16</sup> А. Л. Бем / В. И. Срезневский. Переписка 1911–1936 / сост., введ. и коммент. М. Бубеникова и А. Н. Горяинова. – Брно: Славистическое общество Ф. Вольмана, 2005. – С. 36.

<sup>17</sup> Там же.

*пить в разговоры и совещания с ним. Этот человек – Щеглова, устроенная в Рукописном отделении мною... идет на приманку, хотя все время чувствует себя неловко»* (с. 154–157).

В октябре 1931 г. В. И. Срезневский вышел на пенсию...

Естественно, что Анна Борисовна не знала о сложившейся обстановке в БАН, описанной В. И. Срезневским, и с увлечением и большой ответственностью приступила к описанию рукописного фонда. Работая палеографом и хранителем особо ценных собраний в Рукописном отделе БАН, могла ли она предположить, как трагично Библиотека перевернет ее жизнь, заставит неоднократно пережить муки отчаяния?

**Летом 1933 года Анна Борисовна Никольская была арестована и больше в БАН не возвращалась.** Она считала виновником случившегося директора – И. И. Яковкина, которому воспрепятствовала в использовании неучтенных фондов Библиотеки.

О своих страданиях Анна Борисовна впоследствии написала автобиографический рассказ «Иннокентий Васильевич», опубликованный только через 10 лет после ее смерти<sup>18</sup>. В этом рассказе, скорее всего, нет вымысла, изменены лишь фамилии и инициалы. Обратимся к его тексту.

*«...Ей были доверены особо ценные книжные фонды учреждения, а также разборка и классификация нового ценного фонда, поступившего из какого-то дворца... Однажды, придя утром на разборку фонда, она увидела, что с двух шкафов сорваны печати и целого ряда книг в них не хватает. Она бросилась к коменданту, к дежурным, оставшимся на ночь, – никто ничего не знал. Когда пришел Иннокентий Васильевич, она ринулась к нему.*

*Он даже не дослушал ее до конца:*

---

<sup>18</sup> Простор. – 1987. – № 9. – С. 133–159.

– А что Вы так волнуетесь, Елена Владимировна? – поморщился он. – Книги не пропали, их взяла с моего ведома товарищ Берш. В этом ничего страшного нет.

...Я Вас не узнаю, Иннокентий Васильевич, – опять запротестовала девушка. – То Вы говорите мне, что я должна хранить все как зеницу ока, даже ключей никому ни от одного шкафа не давать, а теперь – какими-то ключами из-под печатей берут книги, я даже не знаю, сколько и каких, потому что часть я могу проверить по инвентарям, а часть я еще не внесла туда, ведь разборка не кончена – и Вы предлагаете мне не обращать на это внимания и молчать!

– А я считаю, что так будет лучше прежде всего для вас, Елена Владимировна.

Зло так сказал и прибавил:

– И вообще меня следует слушаться. Это тоже будет для вас лучше.

Ну, а она тут же попросила у него листок бумаги и, не уходя из кабинета, написала мотивированное заявление с просьбой освободить ее от разборки нового фонда и оставить, как прежде, на старых фондах.

Директор прочел заявление. Его всего перекосило. Он тут же разорвал бумажку на мелкие кусочки и сказал: «Никаких заявлений вы мне не подавали...»

...После этого девушка пыталась поговорить о своем положении и в профкоме, и с заведующим сектором, и в других местах, давала им объяснительные записки, но, по ее собственному выражению, все они «смотрели на нее пустыми глазами Иннокентия Васильевича» и говорили, что объяснительных записок им не нужно, все понятно и так.

Через четыре дня девушка не пришла на работу и больше вообще не появлялась.

*...Почти через год исчезнувшая девушка появилась на несколько дней, чтобы собрать вещи и двинуться в далекий путь. На работе она, конечно, и не появилась. А дома, где они жили оба, – и она, и Иннокентий Васильевич, – они столкнулись в воротах лицом к лицу. Что-то похожее на улыбку передернуло его лицо, он протянул руку. Девушка руки ему не подала»<sup>19</sup>.*

После ареста ее несчастная мать, Екатерина Сергеевна Шубинская, будучи тяжело больной, не выдержала всех испытаний и покончила с собой. Брат Роман отказался от родства с отцом, ушел работать в ОГПУ, но в сентябре 1938 года был арестован и расстрелян.

«Дело» Анны присоединили к сфабрикованному отделом ОГПУ в 1933–1934 гг. делу «Российская национальная партия» или к так называемому «Делу славистов». Жертвами его оказались известные ученые и специалисты, среди которых были Н. Н. Дурново, М. Н. Сперанский, В. Н. Перетц, Г. А. Ильинский, В. В. Виноградов, А. М. Селищев, Н. П. Сычев, П. Д. Барановский, В. Н. Сидоров и др. Наряду с ними были привлечены рядовые музейные работники, библиотекари, врачи, краеведы, агрономы, инженеры, химики и т. д.

«Дело» стало одним из звеньев кампании против старой русской интеллигенции в годы «культурной революции» в СССР. Целью этой кампании было не столько уничтожение, сколько запугивание и унижение. Однако многие осужденные, находившиеся по «Делу» в ГУЛАГе, погибли или не выдержали страданий.

Арестованная Анна Борисовна сначала оказалась в «Крестах» – страшной ленинградской тюрьме. Она – единственная из всех тех, кто оставил какое-либо свидетельство по этому «Делу», упоминает о применении к ней «всяческих незакон-

<sup>19</sup> Там же. – С. 147–148. Полный текст рассказа представлен в третьей части настоящей книги.

ных методов ведения следствия, вплоть до избивания, от чего... получилось травматическое воспаление мозга»<sup>20</sup>. Вспоминая через многие годы пребывание в тюрьме, она рассказывала: *«Следователи задавали мне совершенно idiotские вопросы: „Кто тебя научил делать надписи на рукописях?“ – „Что? Как? Где вы видели надписи на рукописях?“ – „А почему вы выставляли на выставках только одни рукописи и прятали другие?“ В общем, это были невежды и дураки... Однажды меня допрашивали восемь человек и я вдруг почувствовала страшный удар в затылок и свалилась. Очнулась я в больнице...»*<sup>21</sup>. После жестоких кровопролитных допросов, после нескольких месяцев, проведенных в тюремной больнице, она была сослана в 1934 году в Алма-Ату.

В этом городе в разное время нашли приют многие деятели искусства: кто временно (поэт Самуил Маршак и кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, балерина Галина Уланова, композитор Сергей Прокофьев), кто постоянно (художники Павел Зальцман и Алексей Степанов, писатели Юрий Домбровский и Анна Никольская).

Оказавшись в Алма-Ате по чужой недоброй воле, она прожила здесь долгие годы и осталась навсегда. По сути, была обречена на гибель в неизвестности и нищете, но не шла на поводу у жестокой эпохи, а жила вопреки всему, никогда не изменяя себе.

Анна Борисовна устроилась в Казахский педагогический институт имени Абая преподавать курс истории древнерусской литературы, а также обучала студентов французскому языку.

---

<sup>20</sup> Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. «Дело славистов»: 30-е годы. – М.: Наследие, 1994. – С. 36.

<sup>21</sup> Цит. по: Константиновский И. Ваша явка обязательна (Свидетельство Бориса Ямпольского) // Свидетельство Бориса Ямпольского. – М., 1990. – С. 262.

Чудом стала встреча с казахским писателем Мухтаром Омархановичем Ауэзовым, с которым, как оказалось, учились в разные годы на одном факультете общественных наук (этнолого-лингвистическое отделение) Ленинградского университета. Эта встреча подарила ей возможность работать по специальности и стать переводчиком с казахского на русский.

Анна Борисовна незамедлительно приступила к основательному изучению казахского языка и успела за первые три года ссылки многое. Она сделала блестящий, по оценке казахских авторов, перевод лиро-эпической поэмы «Козы-Карпеш», казахского народного эпоса «Кыз-Жибек», «Баянслу» и стихов одного из основоположников казахской литературы Махамбета Утемисова. Прозой переводила народные сказки. Так, благодаря таланту и мастерству А. Никольской, русские и зарубежные читатели получили возможность познакомиться с переводами казахской литературы.

Однако в ноябре 1937 года А. Б. Никольская вновь была арестована и приговорена к десятилетнему заключению. *«Я прожила в Алма-Ате до тридцать седьмого года, – вспоминает Анна Борисовна, – срок моей высылки уже кончился, но я не уехала, потому что решила прежде закончить одну работу о казахском фольклоре. Словом, я дождалась новой волны арестов. Теперь брали по кварталам, по улицам, а когда очередь дошла и до меня, я получила уже десять лет, по постановлению того же суда-фантома, именуемого Особым совещанием или ОСО»<sup>22</sup>.*

До весны 1943 года Анна Борисовна находилась в таежном лагере для заключенных на севере Свердловской области. Тяжелейшие проблемы со здоровьем (туберкулез, бронхиальная астма, ревматизм, язва желудка, непрерывные головные боли) позволили ей как инвалиду покинуть лагерь досрочно и посе-

---

<sup>22</sup> Там же. – С. 262.

литься на положении ссыльной в Такстане (пригороде Алма-Аты), где она снимала «угол» в землянке.

Благодаря М. О. Ауэзову продолжилась ее переводческая деятельность. Были переведены «Походные песни» поэта фронтовика Жумагали Саина (Алма-Ата, 1944; совместно с А. А. Хазиным), его же «Песни юности» (Алма-Ата, 1946), «Стихи и песни» М. Утемисова (Алма-Ата, 1948; переизд.: Алма-Ата, 1957), избранные произведения акына Нурпеиса Байганина (Алма-Ата, 1946), «Курулай-сулу» Исы Байзакова. Были переводы других произведений казахских поэтов, которые нашли отражение в антологии лучших переводов казахской лирики (Простор. Алма-Ата, 1957; То же. М., 1958; Антология казахской поэзии. М., 1958; Поэты Казахстана. Л., 1978 и др.).

В Союзе писателей Казахстана, куда Анна Борисовна была принята в 1948 году, она познакомилась с корифеями казахской литературы: Сакеном Сейфуллиным, Ильясом Джансугуровым, Баймбетом Милиным. Особенно теплые отношения ее связывали с одним из самых известных деятелей культуры Казахстана – писателем М. О. Ауэзовым и его семьей. Мухтар Омарханович был всегда внимателен и чуток к ее проблемам, не раз проявлял участие и поддержку. Их дружба длилась долгие годы.

Совместное творчество с М. О. Ауэзовым выразилось в рождении русской версии первых двух томов (1945, 1948) его знаменитого романа-эпопеи «Путь Абая» (при участии литературоведа, близкого друга автора Темиргали Муртазина). Однако при издании романа имя переводчика на титуле не было указано. Издательство ограничилось скупой пометкой «Перевод с казахского». Роман выдержал около двух десятков изданий. Был переведен в дальнейшем более чем на 20 языков и вошел в сокровищницу мировой литературы.

Роман М. О. Ауэзова отличался не только лексическим богатством, но и сложностью синтаксических конструкций. Предложения

в нем были длинные, они нередко занимали целую страницу. Анна Борисовна как ученый-филолог стремилась при переводе проникнуть не только в смысловые свойства казахских словосочетаний, но и в оттенки, и в ассоциации изучаемого текста. Анна Борисовна вспоминала: «... Я многим обязана Мухтару Омархановичу – я никогда этого не забуду. Я сдерживала слезы, слушая его выступление на банкете после официальной части моего юбилейного праздника – моего шестидесятилетия. Это были подлинные слова друга, пронесшего через все сложности и тернии жизни такое настоящее и такое дорогое отношение ко мне»<sup>23</sup>.

Будучи переводчиком, Анна Борисовна была внимательна к мельчайшим особенностям подлинника и глубоко переживала, если не могла передать русскому читателю всю красоту этого произведения. Вот как она сама об этом рассказывает: «... есть казахское слово “жорга”... Это слово имеет два значения: а) иноходец; б) дипломат. Умеющий словами добиться желаемого, заворожить собеседника своей речью. Одного из второстепенных героев романа М. Ауэзова – Жумабая – так и называли “Жорга-Жумабай” за его дипломатические способности. Ага-султан (то есть старший султан орды) посылает его к старейшинам других казахских родов со сложным поручением. И вот фраза подстрочного перевода: “Жорга-Жумабай сел на своего жорга и точно слился с ним в одно целое. Настоящий жорга был Жорга-Жумабай!” На этом я споткнулась. Автор сказал, что он понимает трудность, даже невозможность игры этого слова в переводе. Он предложил мне отступить от казахского текста. Не получилось ни эквиритмии, ни нагнетания шипящих и гортанных звуков, заполнявших фразу оригинала»<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Никольская А. Б. Листки воспоминаний // Мухтар Ауэзов в воспоминаниях современников. – Алма-Ата, 1972. – С. 168.

<sup>24</sup> Цит. по: Кешин К. Святая Анна // Литературная Алма-Ата. – 2017. – № 11.

Анна Борисовна никогда не торопилась завершать перевод, белая страница становилась для нее «полем жизни», по которому необходимо идти, отвечая за каждый шаг, за каждое написанное слово. Тем более ей было горько сознавать свою бесправность как переводчика. Ее авторство в этом статусе при издании упоминавшегося выше романа М. Ауэзова «Путь Абая» в 1940-е годы было юридически подтверждено только двадцать лет спустя, однако гонорар за выполненную работу в свое время получил редактор издания писатель Леонид Соболев. При этом он сам признавался: «Мы всегда будем помнить о подвиге Никольской... Вот пишут, Соболев – переводчик „Абая“... Я, конечно, принял участие в этой работе, но у истоков всего стоит Анна Борисовна. Честь ей и хвала!»<sup>25</sup>

Литературоведы высоко оценили ее профессиональное мастерство. В частности, патриарх русской переводческой школы Михаил Лозинский писал о том, что «*А. Б. Никольская проявила себя как зрелый мастер русского стиха и русской прозы и по праву должна быть причислена к разряду лучших наших переводчиков*»<sup>26</sup>.

Начиная со второй половины 40-х годов А. Б. Никольская открывает новую страницу своего дарования как прозаик и поэт. Собственное литературное творчество поначалу невольно скрывалось от всех, оставалось за семью печатями. Все оно было автобиографично и обращено в прошлую жизнь. Разве можно было думать, чтобы опубликовать, например, повесть «Две Тани» – о том самом Александровском институте, который выпустил в жизнь юную Аню Никольскую?

---

<sup>25</sup> Жовтис А. Невыдуманные анекдоты: Из советского прошлого. – М.: ИЦ-Гарант, 1995. – С. 48–49.

<sup>26</sup> Цит. по: Жовтис А. Передано людям... Об Анне Борисовне Никольской // Простор. – 1987. – № 9. – С. 129.

Ее оригинальное творчество началось с маленькой книги рассказов «Неписанные истории» (1963). Уже эта книга позволила говорить о ней как об интересном писателе с высокой культурой, с романтическим восприятием действительности. Герои рассказов книги – не философы, не теоретики, не ученые-мыслители. Они – простые обычные люди, которые встречались на ее жизненном пути: француз в фартуке мастерового («В Пиренеях прошел дождь»), ветеран гражданской войны, умирающий трудной смертью («Передай дальше»), русская женщина – мать декабриста («Да будет воля моя») и др.

История и нравственная красота личности для А. Никольской были неразрывны. Ей удалось показать тот трудноуловимый момент, когда историческое преобразуется в нравственное. В упоминавшемся рассказе «Передай дальше» старый ветеран мучается не от того, что ему не доведется изложить событие, а от того, что может пострадать правда, и имя человека будет оговорено.

Рассказ заканчивается обращением: *«Я... передаю рассказ умиравшего командира в руки моего неведомого друга, читающего эти строки. Передай дальше, товарищ читатель!»*

Критики отмечали, что при всей внешней безыскусственности проза А. Никольской покоряет «необщим выраженьем». Она совершенна по одухотворенности, по строгой лаконичности, по ненавязчивой музыкальности, по нравственной безукоризненности; по блистательным речевым портретам множества людей; по передаче колорита места и времени; она пропитана духом оптимизма.

Широкую популярность завоевали у читателей рассказы: «В Пиренеях прошел дождь», «Рожь колосится», «Первый Мефистофель», «Да будет воля моя», «Ведьма», «Подаренные песни» и др.

Особенно большой интерес вызвала повесть «Геленджик» – «рассказ о пропавшем письме», «маленькая прозаическая поэма моей молодости». Она поразила симпатичной доверенностью, умением заставить читателя полностью перенестись в начало 1930-х годов; вместе с автором страдать от того, что письмо о гибели Михаила Юрьевича Лермонтова, случайно найденное автором «Геленджика» в местном краеведческом архиве, впоследствии безвозвратно исчезло. Рассказ выдержан в традициях «романтического литературоведения», о нем с восхищением отзывался И. Л. Андроников.

Только в 1968 году была опубликована повесть «Две Тани». В ней описана драматическая история воспитанницы дореволюционного женского института Тани, которую, как и всех ее подруг, пытались отгородить от жизни высокими монастырскими стенами. Но вихри социальных бурь предреволюционной России достигали дортуаров этого закрытого учреждения. А героине повести, дочери жандармского генерала, пришлось почувствовать всю остроту социального конфликта на собственной судьбе. Вторая Таня, рожденная вне брака, неожиданно оказалась ее сестрой по отцу.

В повесть введены документальные факты об уродливой системе воспитания так называемых незаконнорожденных детей, которые, даже будучи взрослыми, рассматривались как люди, недостойные элементарных человеческих прав. Такой поворот в сюжете убедительно заострил казалось бы сентиментальную историю, поведенную автором с большим сочувствием к обеим Татьянам.

Есть среди рассказов А. Никольской то время в ее жизни, когда она, сотрудница Академии наук, ездила в этнографические экспедиции в Псковскую область («Научное задание», «В поисках ведьмы», «Встреча» и др.). В них опять запоми-

нающиеся портреты рядовых людей, по-разному интересных своей индивидуальностью, ярко и светоносно выписанные автором. Это волшеббно-гипнотическое свойство прозы Никольской испытывает на себе каждый, кто откроет ее немногочисленные книги. К сожалению, при жизни автора их было всего три: «Неписанные истории» (1963), «Пропавшие письма» (1968), «Пропавшие письма» (1976).

Доверительные отношения сложились у Анны Борисовны с Александром Лазаревичем Жовтисом – литератором и переводчиком, доктором филологических наук, известным правозащитником в Казахстане<sup>27</sup>. Познакомились они на одном из литературных вечеров Союза писателей Казахстана в 1945 году, когда Жовтис был еще студентом университета. Он так описал первую встречу с Анной Борисовной: *«Худенькая, узколицая и бледная, она, кажется, едва держалась на ногах. О таких в народе говорят: В чем только душа держится!»*<sup>28</sup>.

В 1972 году Анна Борисовна передала ему на хранение рукопись автобиографической повести «Передай дальше» (первоначальное название «Так было») со словами: *«Возьмите экземпляр моих мемуаров. Вы их напечатаете, а я уже, к сожалению, не увижу этого!»*<sup>29</sup>.

Повесть удалось издать в журнальном варианте через много лет после смерти автора (Простор. 1986. № 10. С. 44–161). В повести как набат звучит голос автора о «самостоянье человека» в труднейших испытаниях, о необходимости сохранить в человеке человеческое и восстановить достоинство личности. Речь идет

---

<sup>27</sup> Снитковский В. Памяти Александра Жовтиса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://berkovich-zametki.com/Nomer17/Snitkov1.htm> (дата обращения: 31.05.2019).

<sup>28</sup> Жовтис А. Передано людям... Об Анне Борисовне Никольской // Простор. – 1987. – № 9. – С. 128.

<sup>29</sup> Там же. – С. 129.

о быте лагеря для заключенных конца тридцатых – сороковых годов, в котором А. Б. Никольская провела шесть лет.

Народ там был разный: и «политические», и уголовные отбывали свой срок вместе. Чтобы облегчить выпавшие на долю людей физические и душевные страдания, Анна Борисовна задумала организовать для заключенных самодеятельный театр. Никогда ранее не игравшие, никогда не выступавшие ни в какой самодеятельности, люди потянулись к этому театру как к светлomu островку человечности и надежды. Один из актеров признался Никольской: «Очень трудно вспоминать, как ты был человеком». Но именно лагерный театр и пробуждал эти воспоминания.

Сколько нужно было доброй энергии, стойкости, любви, чтобы здесь, несмотря на нездоровье, сочинять пьесы, распределять роли, репетировать, мастерить из ничего костюмы и декорации. Объединить людей. Наконец, «давать спектакли». Анна Борисовна, действительно, сотворила ЧУДО.

Эта «мемуарная повесть» (по точному определению Всеv. Иванова) вызвала шквал взволнованных писем от читателей, которые писали: «Каменеешь от горя, читая иные из невыдуманных историй».

Повесть вошла также в последнюю книгу А. Б. Никольской «Передай дальше» (Алма-Ата, 1989. 271 с.), включившую в том числе рассказы, которые при жизни автора не увидели света. Книга открывается предисловием известного актера и режиссера Сергея Юрского. Он был потрясен ее содержанием и мужеством автора, нашедшего в себе силы говорить о судьбах и трагедиях людей, канувших в бездну без следа. «Дух света исходит со страниц, наполненных ужасом событий. Поэтому в глазах читателя, закрывающего последнюю страницу, слезы не только сочувствия, но и благодарности» (с. 4).

На протяжении всех лет жизни Анна Борисовна продолжала писать стихи – всерьез и, как говорила, в шутку. Правда, данная часть ее творчества осталась почти неизвестной читателю, хотя на некоторые стихи композиторами С. Шабельским и Е. Брусиловским были написаны романсы. Для примера обратимся к отдельным стихотворениям, которые добавляют штрихи к портрету этого незаурядного человека.

Своей племяннице Оленьке Мандрыка, названной в честь бабушки – Ольги Владимировны Никольской-Орбели, она подарила вольный перевод казахской песни «Дударай»<sup>30</sup>:

*Мариям, русской девушке, – сердца первый цвет –  
Полюбился казах Дудар – краше в свете нет!  
Зорькой алой горит любовь в шестнадцать лет!  
И тогда запела Мариям Дудару:  
– Дударари-дудым,  
Счастливы мы будем,  
Свет мой милый, Дударари – Дудым – ай!*

*Коль стремится река к реке, кто им путь замкнет?  
Посмотри, как бобровая шапка мне идет!  
Приезжай, мой Дудар, ко мне – любовь зовет! –  
Чтоб злодей лихой твое не занял место!  
– Дударари-дудым,  
Счастливы мы будем,  
Свет мой милый, Дударари – Дудым – ай!*

---

<sup>30</sup> Рукописный текст песни с переложением на ноты композитора Е. Г. Брусиловского любезно предоставлен Ларисой Георгиевной Кондратьевой – филологом и другом семьи Орбели-Мандрыка. Она сохранила книги А. Б. Никольской, фотографии и другие ценные документы.

Ее мама – Анна Ивановна Морозова (1914–2001) работала в БАН в Отделе научной систематизации литературы с 1955 по 1969 г.

И рядом – совсем другое стихотворение – беспросветные строчки, написанные 20 сентября 1942 года и вывезенные затем из «зоны».

*Ты слышишь, дальний перезвон,  
Такой глухой, такой печальный  
Как будто нас встречает он  
Таежной песней погребальной?*

*Стон рельс разбитых мерно тих,  
И веет страшную химерой...  
Заборы... Вышки часовых...  
Бараков ряд угрюмо серый...*

*Внушая ужас, боль и страх,  
Ползут, как призраки живые,  
Без рук, без ног, на костылях  
Осколки грязные людские.*

*Здесь не звучит людская речь,  
Ни плач, ни тихие упреки:  
Здесь гнойным ядом могут течь  
Лишь смрадной ругани потоки...*

*В той черной яме страшен смех,  
В ней детский голос – дар случайный.  
Любовь? Любовь в ней грязный грех,  
Лишенный снов, стыда и тайны.*

*В ней даже смерть – не сладкий сон  
А тяжкий подвиг для живого –  
Под черный погребальный звон  
Обломка рельса часового.*

После прочтения этого стихотворения невозможно понять, как А. Никольская могла не озлобиться, не потерять интерес к жизни и любовь к людям, вопреки всему с невероятным

напряжением душевных и физических сил делать то, к чему была призвана. «Персоной нон грата» писательница оставалась до середины 50-х гг., когда началась реабилитация невинно пострадавших и во весь голос было сказано о преступлениях власти. В двух документах 1956 года за подписями председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР Аксенова и председателя Военного трибунала ЛенВО Ананьева сообщалось, что все решения по делу Никольской А. Б. отменены «за недоказанностью обвинения...»<sup>31</sup>.

Потрясением стала встреча осенью 1954 года с сотрудником УНКВД Казахской ССР по фамилии Пушкин, когда она была вызвана в Министерство внутренних дел республики. Ей сообщили об отмене тяжкого приговора по известной 58 статье. Анна Борисовна вспоминала: Министр... «повернулся к одному из окружавших его помощников:

*«Товарищ Пушкин! Оформляйте документы товарищу Никольской немедленно, без всякой задержки». – «Есть, слушаюсь!» Я глянула на этого человека, и точно меня по голове ударили: «Это он!.. Нет, нет, не может быть!.. Нет, все-таки он, он! Тот самый, что меня арестовывал в тридцать седьмом году здесь, в этом же городе, в Алма-Ате. Тогда он был капитаном, а теперь он полковник. Нет, это не он. Он такой же, как был, – молодой, франтоватый, надушенный одеколоном «Шипр». Что ж,*

---

<sup>31</sup> С 1954 года в СССР началась массовая юридическая реабилитация. В 1954–1961 гг. за отсутствием состава преступления были реабилитированы 737182 человека, в 1962–1983 гг. – 157055, в 1988–1989 гг. – 856582, в 1991–2004 гг. – более 630000 человек. В общей сложности около 2,5 миллионов были официально, юридически признаны «необоснованно привлеченным к уголовной ответственности, невинными лицами». См.: Колосницын П. О Колыме, о родине и нашем страхе // Троицкий вариант. – 2019. – № 10. – С. 4–5.

*он Дориан Грей, что ли? Нет, не он...» Но потом, когда я последовала за ним в его кабинет, я окончательно убедилась: он! Конечно, он, и он постарел – я этого только не заметила сразу, – он разъелся, стал грузным, появились мешки под глазами. Но это он же, сытая, крепкая скотина. Я вспомнила, как он подписывался на протоколе обыска – Пушкин. Эту фамилию не забудешь. Да, он, он, здоровый, благополучный, а я старуха – немощная, больная. Вот как все кончилось...»<sup>32</sup>*

Слова бесконечной благодарности родным и близким людям за многолетнюю поддержку содержатся в письме к Леону Абгаровичу Орбели, которое она написала вскоре после отмены приговора:

*«Вы, знавший и видевший мою жизнь от рождения, лучше чем кто-либо можете понять, какое глубокое потрясение принесла мне эта новость, так долгожданная – и все-таки неожиданная в тот момент, когда я ее получила. Я до сих пор не могу еще до конца осознать всего, что произошло. Слишком тяжел был многолетний всей моей большой семье груз, легший на одни мои слабые плечи, слишком много необратимых процессов осталось от него и в моем организме, и в моей психике. Но что было – то было, я не могу вычеркнуть лучших – по возрасту – годов моей жизни, пройденных таким тернистым путем. И если мои слабые плечи выдержали этот непосильный груз, если я смогла дойти до конца этого тяжелого этапа моей жизни, то я с благодарностью вспоминаю как уже ушедших из жизни людей, у которых я черпала силы ду-*

---

<sup>32</sup> Цит. по: Константиновский И. Ваша явка обязательна (Свидетельство Бориса Ямпольского) // Свидетельство Бориса Ямпольского. – М., 1990. – С. 261.

*шевные, так и тех, кого жизнь, к моей великой радости, сохранила до этих дней. И среди них в первую очередь я произношу Ваше, дорогое для меня имя. Спасибо Вам за все, дорогой Леон Абгарович: и за помощь, и за советы, и за ваше неизменно отзывчивое ко мне отношение...»<sup>33</sup>.*

Она получила возможность преподавать в Алма-Атинском университете. Словно стремясь наверстать упущенное, Анна Борисовна часто встречалась со студентами, читала им свои еще неопубликованные страницы. Охотно консультировала молодых писателей и ученых-языковедов. Писала рецензии на художественные произведения авторов разного уровня, но всегда с чувством такта и уважения к их труду.

В эти годы по просьбе профессора А. Маргулана А. Б. Никольская приняла участие в подготовке пятитомного собрания сочинений выдающегося казахского просветителя, этнографа и путешественника, исследователя Средней Азии и Казахстана Чокана Валиханова в качестве старшего текстолога группы составителей. Это было свидетельство высокой оценки ее профессионализма и ее личности.

В начале 1950-х гг. Анна Борисовна соединила свою судьбу с судьбой тоже уже немолодого человека, известного в Казахстане ученого-биохимика профессора Бориса Ивановича Ильина-Какуева. Они прожили вместе до его кончины около двадцати лет. Был Борис Иванович разносторонней творческой натурой, до глубокой старости любил писать акварели. Если выбирался в Москву или Ленинград, то до изнеможения ходил по букинистическим магазинам, выставкам, театрам. А Анна Борисовна полюбила Переделкино, периодически там отдыхала.

---

<sup>33</sup> Жовтис А. Л. Передано людям! (Об Анне Борисовне Никольской) // Никольская А. Б. Передай дальше! Рассказы, повесть. – Алма-Ата: Жазушы, 1989. – С. 265.

Семейная жизнь требовала заботы, но, к сожалению, оба часто болели. Сохранилось письмо Анны Борисовны к двоюродной сестре Русудане, где она пишет:

*«Милые мои, пытаюсь писать Вам одной левой рукой, ... потому что с правой все еще продолжаю мучиться. Лечение, вероятно, принесло бы результаты гораздо раньше, но я болела гриппом, потом меня замучили весенние приступы астмы... Мне надоело посвящать мои письма переню болезней – своих и дяди Бори»<sup>34</sup>.*

Когда стала «выездной», нередко приезжала в Ленинград к родным. Можно только гадать, по каким проспектам, улицам и линиям в дни возвращения в любимый город пролегал маршруты Анны Борисовны. Но можно не сомневаться, что она бывала на Невском проспекте, Дворцовой площади, а через Дворцовый мост – на Университетской набережной Васильевского острова, где располагается ее alma-mater – университет. С набережной хорошо просматривается серое здание БАН, которое навсегда разлучило ее с прошлой жизнью. Анна Борисовна в своей главной повести «Передай дальше» вспоминает, что, будучи в лагере для заключенных, неоднократно мысленно возвращалась в эту библиотеку:

*«В редкие минуты... я уходила душой очень далеко, в свой мир и свои воспоминания, казавшиеся полуфантастическими в окружавшей меня жестокой, убогой обстановке.*

*... Рукописный отдел библиотеки Академии наук. Старый сборник – конца XVII века. Пестрое содержание. Разные почерки – от четкого полуустава до неразборчивой скорописи, которую трудно читать из-за замысловатых*

---

<sup>34</sup> Письмо от 14 марта 1966 г. любезно предоставлено Л. Г. Кондратьевой.

закорючек и писарских ухищрений, свойственных не эпохе и принятому в ней начертанию, а личным вкусам переписчика. Да и чернила слабые, выцветшие... Надо дать так называемое научное описание книги.

... Челобитная. Царю и государю всея Руси... Феодору Алексеевичу... (величание «благоверному» отсутствует, челобитчик, как увидим, не мог написать это слово!)... от диакона... рабишки... Ивашки Неронова... (Иван Неронов! Сперва – протодиакон одного из московских соборов, потом протопоп. Соратник и первая рука знаменитого протопопа Аввакума в борьбе раскола «никонианской ереси», надолго разделивший суровую участь главы старообрядцев – ссылку в поморские земли! Упрямый старик был, а сдался под конец жизни: отрекся от старообрядчества и умер архимандритом...).

Читаю челобитную – памятник живой русской народной речи XVII века, полную горячего бунтарского дыхания. Одна фраза особо привлекает мое внимание: Неронов перечисляет царю все темные, тяжкие стороны своей ссылке в глухом, холодном и диком краю, прося снизить к его возрасту и болезням и перевести его куда-нибудь поближе к человеческой жизни «... От непочитания книжного ума иступихся», – вырывается у него.

Ума иступихся.... Книг не было. Угасал мозг. Тоска и вопль XVII века... Как странно все это переплетается с буднями лагерной жизни! Когда-то, там, в кабинетах рукописного отдела этот образный крик, долетевший до меня через века, вызвал во мне восхищение своей яркой афористичностью и запомнился на всю жизнь. А здесь он встал передо мной в суровой наготе каждого слова, разившего душу...»<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Никольская А. Б. Передай дальше! Повесть о незабытом // Простор. – 1986. – № 10. – С. 61–62.

Воспоминания о прошлом приходили не только днем, но и ночью. *«Мои сны, – вспоминала Анна Борисовна, – были очень красивыми. Они повторялись в разных вариантах, я встречалась с ними, как со старыми знакомыми...»*

*Мне снились книги – великолепные старые фолианты, писанные готикой на тончайшем пергаменте. Я листала их, глядясь в красочные миниатюры, исполненные иглами, я впитывала запах воска, желтыми слезами упавшего некогда на их страницы и навсегда застывшего...»<sup>36</sup>.*

Трагические повороты в судьбе Анны Борисовны не могли изменить ни ее убеждений, ни ее нравственных ценностей. Она осталась верна идеалам своей семьи и выполнила завет отца. Сохранилось «Духовное завещание» Б. В. Никольского:

*«...Детям моим завещаю... Какой бы путь жизни не избрали, пусть стремятся к высшему, возможному в их время просвещению, воспитывая в себе равнодушие ко всем благам земным и личным выгодам, но не впадая ни в юродство, ни в лицемерие.. Пусть никогда не отчаиваются и никогда не унывают. Пусть стремятся к лучшему и высшему, что человеку возможно... Пускай... готовятся ко лжи, клевете, вражде, предательству, борьбе и ненависти; сами их не ищут, но нигде им не удивляются, нигде на них не ропщут... Пускай не боятся ни неудач, ни промахов, ни слабостей, ни минутного малодушия: не падать никто не волен, но пусть всегда встают, не отрекаясь от своих ошибок, но не отрекаясь от истины. Кто бы из них как бы не пал, прощаю и благословляю, если встанет или, хоть и не встанет, но вставая умрет. И пусть помнят, что весь я везде с ними и радуюсь за них и благодарю их, где они по*

---

<sup>36</sup> Никольская А. Б. Передай дальше! Рассказы. Повесть. – Алма-Ата: Жазушы, 1989. – С. 241.

*мере сил одному со мной служат, мое дело продолжают и моему завещанию верны»<sup>37</sup>.*

Словно отвечая отцу, она однажды записала:

*«Жизнь щедро одарила меня – и радостями, и горем, и знаниями, и опытом, заставляя колебаться, совершать ошибки, слабеть, а потом подниматься...*

*Выполнила ли я мой долг перед жизнью? Рассказала ли, научила ли, передала ли людям все, чем сама была обогащена?»<sup>38</sup>*

Можно с уверенностью сказать: «Да, смогла, выполнила, рассказала и поведала, научила и наделила многим, чего бы мы никогда не знали».

\* \* \*

Рукописный отдел Библиотеки Академии наук, в котором началась профессиональная деятельность А. Б. Никольской, остался в истории ее жизни не только трагической страницей, но и подарком судьбы – встречей с уникальным книжным сокровищем первой государственной библиотеки России.

И пусть эта книга будет нашей запоздалой благодарностью и низким поклоном Анне Борисовне Никольской, которая олицетворяет стойкость духа, мужество и благородство русского человека.

---

<sup>37</sup> РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4. Духовное завещание Б. В. Никольского, касающееся судьбы его рукописей и передачи нравственных начал («Служба царю и отечеству») сыновьям, с упоминанием друзей и [душеприказчиков] барона А. Ф. Мейендорфа и Г. В. Чичерина.

<sup>38</sup> Цит. по: Жовтис А. Передано людям... Об Анне Борисовне Никольской // Простор. – 1987. – № 9. – С. 133.

---

---

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

### **О ТВОРЧЕСТВЕ А. Б. НИКОЛЬСКОЙ РАССКАЗАЛИ**

Как было подчеркнуто в первой части, писательская судьба А. Б. Никольской тесно переплеталась с ее переводческой деятельностью. Одаренная от природы творческим талантом, она настойчиво оттачивала перо писателя, создавая русские тексты казахских писателей и поэтов. Собственные рассказы и повести были основаны на впечатлениях от пережитой жизни. Их по достоинству оценили современники.

Главным итогом творчества стала повесть «Передай дальше» о самодеятельном театре в условиях лагеря для заключенных. Еще в рукописи повесть была известна не только казахским, но и московским писателям. Голос Анны Борисовны Никольской в защиту обреченных на смерть услышала вся страна.

**Всеv. Иванов**  
**О рукописи А. Никольской**  
**«Передай дальше»**

Я прочел эту рукопись с большим интересом и вниманием.

Видно, что у автора огромный запас наблюдений – и огромная жажда рассказать эти наблюдения, это горько пережитое, которое не покидает и гложет Вас. Вот эту-то жажду рассказа – то, что мы обычно зовем «искренностью», я остро почувствовал. Много портретов приятных и легких, несмотря на лагерные условия жизни, лиц; много – тяжелых, злобных людей. Очень патетичный, искренний, до слез трогаящий конец. И когда закрываешь последнюю страницу рукописи «Передай дальше», – надолго остается впечатление огромной силы, огромной мощи жизни, мощи правды ее. Может быть, так и нужно писать мемуары – с такой полнотой и верой в человека, в его сердце и талант?

Мне кажется, – если рукопись эту напечатать, а ее необходимо, ее важно напечатать, – книга будет иметь большой успех у читателей – и не сенсационностью рассказанного в ней, а могучим торжеством правды, которое чувствуется на каждой странице. И еще – торжеством искусства, которое так приятно видеть и понимать, хотя оно и передано, на первый взгляд, как бы мелочами, частностями.

Я очень приветствую издание этой книги.

*4 марта 1963. Москва*

*Опубликовано: Простор. – 1986. – № 10. – С. 44.*

## К. Паустовский

Определить жанр литературной работы А. Б. Никольской (под названием «Передай дальше») трудно, да, пожалуй, и не нужно. Есть вещи, которые не укладываются в жесткие рамки жанров. Вернее, они перерастают эти рамки. Поэтому только для удобства я буду в дальнейшем называть литературное произведение А. Б. Никольской повестью.

Повесть эта – о небольшом лагере для заключенных где-то в глубине сибирской тайги. Но эта повесть ни в какой мере не является данью той некоторой «моде» на «лагерные» книги, какая появилась в последнее время.

Это – подлинный человеческий документ – правдивый, точный и выстраданный автором.

Повесть эта с простотой и силой, с глубокой убежденностью автора говорит о том, что человечность не может быть убита, не может быть вырвана никакими, самыми чудовищными жестокостями.

Особый интерес этой повести придает то обстоятельство, что она посвящена театру, созданному в лагере самими заключенными. В ходе создания и работы этого театра происходит много интересных и характерных событий и выявляются удивительные характеры людей.

Портреты «зеков» – работников и энтузиастов лагерного театра сделаны автором выпукло, зримо и сильно.

Я думаю, что повесть А. Б. Никольской должна быть издана обязательно.

*Москва. 30 марта 1963 г.*

*Опубликовано: Простор. – 1986. – № 10. – С. 45.*

## **Мих. Слонимский**

### **А. Б. Никольская. Так было**

Повесть А. Б. Никольской – сильное, правдивое, серьезное произведение. Повесть написана талантливо, глубоко, в ней очень запоминаются психологически точные, убедительные портреты-характеристики самых разных людей (особенно во второй части), она проникнута светлым чувством жизнелюбия, все страшное, что есть в ней, органически, естественно изображено с жизнеутверждающих позиций.

Повесть эта – о лагере в период культа личности, о том лагере, в котором сама талантливая писательница провела долгие годы, о театре, который она там создала. Никольская пишет ярко, умно, с проникновенной верой в будущее. Хорошо показывает она, как высокое чувство патриотизма живет в сердцах, побеждая тяжкие испытания.

Автор изображает жизнь и людей с незаурядной художественной силой. Изображение окрашено любовью автора к советским людям, пронизано борьбой со всем скверным, что есть в душах и в жизни. В этом смысле повесть Никольской весьма поучительна.

Горячее, искреннее, из сердца вылившееся, произведение Никольской захватывает так, что, начав читать, уже не можешь оторваться.

В этой повести – преодоление того тяжелого, что было, она озарена светом наших нынешних дней.

Считаю, что эту книгу надо обязательно издать.

*20 сентября 1963 г.*

*Опубликовано: Простор. – 1986. – № 10. – С. 45.*

**А. Жовтис**

**Передано людям!**

**(Об Анне Борисовне Никольской)**

Повесть «Передай дальше!», как и рассказы ... при жизни автора не увидели света<sup>1</sup>. Имя А. Б. Никольской приобрело широкую известность, когда в своем докладе на Пленуме правления Союза писателей СССР в апреле 1987 года В. В. Карпов назвал ее замечательное произведение, уже появившееся к тому времени на страницах казахстанского журнала «Простор», в одном ряду с теми произведениями советской литературы, которые породили «не только большой разговор, но и своеобразный всплеск социальной активности». <...>

Множество взволнованных, трогаящих душу писем получила редакция «Простора», и, снова пересматривая их, я с пронзительной ясностью вижу то, что не сбылось, не могло сбыться, – как читала бы Анна Борисовна эти глубоко искренние строки, вижу ее одухотворенное мыслью лицо и тонкие пальцы, сжимающие только что вынутый из конверта листок... Об одном из этих писем нельзя не упомянуть.

Среди действующих лиц «мемуарной повести» (именно так определял ее жанр К. Г. Паустовский) некоторые выступают под собственными именами. Есть среди них рабочий сцены Иван Иванович Петкау. И вот сейчас передо мной письмо в редакцию его дочери – колхозницы из села Галицкого Павлодарской области Марии Нейштедер. Ей было всего несколько

---

<sup>1</sup> Только рассказ «Дождь в Пиренеях» входил в состав прежде вышедшего сборника.

месяцев в том недобром 1937-м году, когда тысячи и тысячи без вины виноватых оказались в ежовских лагерях – в том числе и ее отец, навеки исчезнувший для семьи. А теперь – спустя 50 лет! – она и ее близкие услышали его голос и словно бы воочию увидели его. Как неожиданна и страшна была для них весть о родном человеке, *п е р е д а н н а я* писателем! Воистину, повторим еще раз вслед за Фучиком, «были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и потому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю...» Не было «неизвестных!» Не было...

Более тридцати лет знакомства и дружбы связывали меня с Анной Борисовной Никольской, скончавшейся в Алма-Ате 21 ноября 1977 года, и это дает мне право рассказать здесь о ней... <...>

Рукописи суждено было пролежать в моем архиве много лет, прежде чем я передал это произведение редакции журнала «Простор», где оно и было опубликовано на сравнительно раннем этапе перестройки – в октябрьском номере за 1986 год. (Любопытно, что инерция неприятия правды нашей истории в тот момент еще работала: на съезде журналистов Казахстана докладчик счел нужным критиковать редакцию за этакую «лагерную тематику», а республиканская печать – в отличие от центральной – ни единым словом не откликнулась на публикацию). <...>

Хочется вспомнить одну очень важную для характеристики А. Б. Никольской фразу: «Не публикуйте, пожалуйста, этого т а м ... Только у нас!» Она верила в конечную победу истины над ложью, правды над кривдой, просто здравого смысла над безмыслием.

...Я познакомился с Анной Борисовной не в лучшие ее времена.

Шла последняя голодная и холодная военная зима. Я был студентом университета, что-то пописывающим, а Никольская

после шести лет пребывания на севере только что получила право жительства в Алма-Ате и стала зарабатывать на жизнь переводами. Встретились мы с нею на одном из обычных в то время литературных вечеров в старом здании Союза писателей напротив Зеленого базара, где собирались тогда Ю. О. Домбровский, Гайша Шарипова, А. А. Хазин, Л. И. Варшавский и другие члены русской секции. Помню, что я пошел провожать немолодую, по моим тогдашним представлениям, писательницу и никак не мог понять, куда же мы идем, ибо направились мы на дальнюю окраину, в район ветхих землянок, где, как потом выяснилось, она «снимала угол».

Это был действительно «угол», в котором под большим деревенским столом помещалась постель жилицы, служившая ей одновременно и рабочим местом. <...>

Передо мною лежат два документа.

В одном за подписью заместителя председателя Военного трибунала ЛенВО Ананьева сказано, что постановление Особого Совещания при Коллегии ОГПУ от 2 апреля 1934 г. в отношении Никольской А. Б. отменено «за отсутствием состава преступления». В другом, подписанном зам. председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР И. Аксеновым, аннулировалось постановление «тройки» от 10 декабря 1937-го года. Так были, наконец, зачеркнуты все решения, согласно которым она отбывала наказание в тридцатые и сороковые годы.

Горькая это была радость, но – радость огромная! Уже в последние годы жизни, возвращаясь к этому незабываемому дню, когда ей вручили соответствующие «справки», Анна Борисовна описывала его в дневниковых заметках буквально по минутам, во всех деталях, со всеми репликами – официальных лиц, близких, друзей, знакомых, просто посторонних... <...>

Мне нелегко даже перечислить все то, чем она занималась тогда: переводила стихи и прозу казахских авторов, была спецредактором авторского перевода на русский язык исторического романа чеченского писателя С. А. Арсанова «Когда познается дружба», приняла деятельное участие, по просьбе профессора А. Маргулана, в подготовке пятитомного собрания сочинений Чокана Валиханова (вспомнив о своей научной специализации палеографа и текстолога), вела большую переписку, находила время для помощи молодым авторам и советов пушкинисту Н. А. Раевскому и т. д. Однажды Н. С. Тихонов, который был одним из ее главных корреспондентов, готовя выступление на юбилейном вечере памяти Леси Украинки, счел нужным посоветоваться с Анной Борисовной; мы с ней обсуждали его письмо и высказанные им соображения. Когда я подготовил книжку своих переводов корейских классиков на украинский язык, я отдал ее на суд Анне Борисовне, как впрочем, отдавал и другие работы. Ее двоюродная племянница Оля училась в аспирантуре у известного ученого проф. Е. Г. Эткинда, и «тетушка» писала ей пространные письма, посвященные проблематике Олиной диссертации...

<...> У нее была превосходная дикция, прирожденный актерский талант, а преподавательский опыт и «чувство аудитории» делали ее встречи с молодежью захватывающе интересными. <...>

Сжатость, сюжетная завершенность, стилистическая отточенность удивительны в таких рассказах, как «Рожь колосится»<sup>2</sup> или «Иннокентий Васильевич»<sup>3</sup>, колорит времени и места – в рассказах «Ведьма»<sup>4</sup> или «Дождь в Пиренеях»<sup>5</sup>. <...>

<sup>2</sup> Источник: Неписанные истории: Рассказы. – Алма-Ата: Казгослитиздат, 1963. – С. 28–52.

<sup>3</sup> Простор. – 1987. – № 9.

<sup>4</sup> Сб. «Пропавшие письма», Алма-Ата: «Жазушы», 1971.

<sup>5</sup> Источник: Неписанные истории: Рассказы. – Алма-Ата: Казгослитиздат, 1963. – С. 28–52.

В сравнении с рассказами повесть «Передай дальше!» может показаться композиционно менее строго организованной и местами стилистически неотделанной. Когда стало ясно, что в печать ее не пустят, Анна Борисовна, к сожалению, прекратила работу над рукописью. <...>

...На протяжении жизни Анна Борисовна продолжала писать стихи (а не только переводить) – и всерьез, и, как она говорила, в шутку. Шуточные стихи, обращенные к друзьям, сохранились у меня и у некоторых близких ей людей. Оригинальная лирика ее несколько старомодна, но некоторые из сохранившихся стихотворений представляют несомненный интерес, ибо добавляют какие-то яркие штрихи к характеристике этого незаурядного человека. Местами же в них ощущается сила духа и энергия истинного поэта. <...>

...Среди многих встретившихся на моем пути людей я не встречал человека, который бы с таким напряжением всех душевных и физических сил делал то, к чему был призван, и сделал так много вопреки тому, что за неимением в языке другого слова мы зовем судьбой, как Анна Борисовна Никольская.

*Алма-Ата. Апрель, 1988 г.*

*Опубликовано: Никольская А. Б. Передай дальше! Рассказы, повести. – Алма-Ата, 1989. – С. 256–271.*

## М. Ауэзов

Анализируя творческий опыт А. Б. Никольской – переводчика, А. Л. Жовтис приводит слова Мухтара Ауэзова, сказанные им в дни празднования его шестидесятилетия. Многие в жизни перенесший и благодарный людям за прижизненное признание, он счел нужным сказать, что отмечает не только свой юбилей, но и еще одну знаменательную дату – 25-летие своего знакомства и творческого содружества с Анной Борисовной Никольской, другом и переводчиком, которому он так много обязан:

*«Присущее всем переводам с казахского отличительное и высокоценное качество А. Б. Никольской заключается в том, что она, будучи одновременно ученым-филологом, легко и глубоко проникает не только в прямое смысловое, понятийное свойство казахских словосочетаний, но также и в оттенки, в дополнительные ассоциации, вызываемые каждым отдельным поэтическим образом. А богатство ее собственного словаря помогает в дальнейшем и верной и полноценной отделке ее переводов»<sup>1</sup>.*

Но это еще не все. Когда работа над настоящей книгой близилась к завершению, удалось обнаружить еще один важный документ о работе М. О. Ауэзова с А. Б. Никольской. В конце 1951 г. Управление Комитета госбезопасности по Алма-Ате вновь проявило интерес к личности Анны Борисовны. В архи-

---

<sup>1</sup> Цит. по: Жовтис А. Л. Передано людям... Об Анне Борисовне Никольской // Простор. – 1987. – № 9. – С. 129–130.

ве бывшего управления Комитета сохранился отзыв М. О. Ауэзова. Привожу его полностью.

*«Отзыв о литературной работе  
Анны Борисовны Никольской»*

*За литературной деятельностью А. Б. Никольской я имел возможность следить на протяжении многих лет. В 1936 г. она прислала мне экземпляр своего перевода казахской народной поэмы «Кыз-Жибек». Увидя, что перевод этот свидетельствует о выдающемся таланте автора, я просил А. Б. (Анну Борисовну) и впредь знакомить меня с ее работами.*

*Таким образом я узнал ряд последующих ее трудов в области стихотворного и прозаического перевода:*

*1. Два сборника повстанческих песен казахов (1937 и 1945).*

*2. Песни Махамбета Утемисова (1947).*

*3. Роман Мухтара Ауэзова «Абай» (1945), удостоенный Сталинской премии первой степени.*

*Во всех этих работах А. Б. Никольская проявила себя как зрелый мастер русского стиха и русской прозы и по праву должна быть причислена к разряду лучших наших переводчиков. Для русского читателя в ее переводах живо чувствуется своеобразие казахской речи. А компетентные судьи свидетельствуют о большой точности этих переводов и об умении А. Б. Никольской находить отличные решения для самых трудных задач, встающих перед переводчиком с казахского языка на русский.*

*В особую заслугу А. Б. Никольской следует поставить, что, обладая знанием нескольких западно-европейских языков, она предпочла не разбрасываться в своей работе и сосредоточиться на изучении языка, истории и быта одного из братских народов Советского Союза. Она много и усердно*

*потрудилась для дела русско-казахской дружбы, и через ее переводы с литературным творчеством казахского народа познакомились широкие круги не только русских, но и зарубежных читателей.*

*Член Союза Советских Писателей,  
лауреат Сталинской премии*

*27.01.1952»<sup>2</sup>.*

---

<sup>2</sup> Огрызко В. Чего мы не знаем об Абае и его великом певце (Часть 3). Развенчивая мифы вокруг великой эпопеи Мухтара Ауэзова // Лит. Россия. – 2018. – 3 авг. – Режим доступа: <https://litrossia.ru/item/chegomu-ne-znaem-ob-abae-i-ego-velikom- pevce-chast-3/> (дата обращения: 03.09.2019).

## **С. Юрский** **Об этой книге**

Человеческая память – просторное вместилище, но все же не беспредельное. Под грузом новых впечатлений что-то вытесняется, что-то сжимается. Свидетельствую: повесть Анны Никольской «Передай дальше!», прочтенная довольно давно, сохранилась в памяти полностью. Не скажу, что во всех деталях (прочел я ее лишь раз и, следуя названию, передал дальше, и от каждого нового читателя слышал отклик о необычном и очень глубоком впечатлении), но сохранилось первое ощущение от встречи с явлением исключительным.

Да, конечно, прежде всего содержание – то, о чем рассказала А. Никольская. Лагерь заключенных, через который в сталинские времена довелось пройти автору. Судьбы и трагедии людей, канувших в бездну без следа, не нашедших даже слабого утешения в том, чтобы хоть кто-то знал, как это было, как было на самом деле, и вдруг через много лет явившихся к нам живыми – со своими именами, со своей речью, характерами, душевным складом, с ужасом прожитого и просветами в этом ужасе. Они пришли не как литературные герои, не как отражение, но как сама реальность.

Это главное. Но не единственное.

Есть еще судьба самой Никольской, рассказанная, переданная лишь пунктиром. Она иная, она отличается от других. Прежде всего потому, что Никольская – автор, она единственная нашла в себе силы, смелость, обрела право говорить. Говорит она о них – о тех, кто были рядом и вокруг. Говорит и о себе – о своих действиях, поступках, меньше о мыслях, почти ничего о

переживаниях. Ни одного слова самооценки. Но теперь, когда повесть напечатана, когда Анны Борисовны Никольской уже нет, больше всего поражает в повествовании именно она сама...

Оказывается, возможна человеческая чистота, которая сохраняет себя в самой страшной грязи и во прахе – не отгораживаясь, идя навстречу, не замыкаясь в своей исключительности, без ханжества, без брезгливого осуждения. Оказывается, милосердие может быть нестигаемым. Оказывается, «духовность» не только выше «животности», но и не слабее ее.

Наконец, «Передай дальше!» – крупное художественное произведение. Не рискну анализировать его достоинства, для этого нужно много раз вернуться к нему и много подумать. Но вот слово, мелькнувшее после первого прочтения повести, и теперь, когда я познакомился с рассказом Никольской «Иннокентий Васильевич» («Простор», № 9, 1987) и другими рассказами, которые читатель найдет в этой книге, – вот слово, вновь явившееся, – целомудрие. Забытое слово, не правда ли? Откровенность, совершенно лишенная прямолинейности, тем более фамильярности, грубости – и по отношению к героям (как любимым, так и неприемлемым), и по отношению к адресату.

...Дух света исходит со страниц, наполненных ужасом событий. Поэтому в глазах у читателя, закрывающего последнюю страницу, слезы не только сочувствия, но благодарности.

*1987 г. Ноябрь*

*Москва*

*Опубликовано: Никольская А. Б. Передай дальше! Рассказы, повесть. – Алма-Ата: Жазушы, 1989. – С. 3–4.*

## **Т. Иванова**

### **Передай дальше**

Я воспринимаю эту публикацию как событие в литературе. И еще одно событие: Анна Никольская, «Передай дальше», повесть, журнал «Простор». Раньше меня эту повесть оценили примерно так же Николай Тихонов, Всеволод Иванов, Константин Паустовский и Михаил Слонимский, так что я иду проторенным путем. Правда, в то время повесть по разным причинам опубликована не была, они говорили о рукописи. «Надолго остается впечатление огромной мощи жизни, мощи правды ее», – писал Всеволод Иванов. «Повесть эта с простотой и силой, с глубокой убежденностью автора говорит о том, что человечность не может быть убита, не может быть вырвана никакими, самыми чудовищными жестокостями», – писал Константин Паустовский. Что к этому прибавить? <...> Перед нами... прекрасный женский образ – высокообразованной, истинно интеллигентной, глубоко культурной горожанки. Имя Анны Никольской есть в Казахской энциклопедии. Она автор нескольких книг. Она переводила «Путь Абая», и ее перевод способствовал всемирной популярности этой книги.

*Опубликовано: Огонек. – 1987. – № 7. – С. 20–21.*

## Н. Иванова Легко ли быть?...

<...> Сохранить в человеке человеческое, восстановить достоинство личности в тяжелейших условиях – возможно ли это? Анна Никольская в своей документальной повести «Передай дальше» («Простор» № 10. 1986) доказывает: да, возможно. <...>

Речь в повести идет о быте лагеря конце тридцатых – сороковых годов, в котором Никольская провела немало лет. <...> А. Никольская сосредоточена не только на этом быте, на этой тяжелейшей испытаниями для тела и для духа жизни, но и на характерах людей и на своей фантастической – если принять во внимание условия и время – попытке вытащить людей из темной ямы бесчеловечности. Идея была, повторяю, фантастична и – одновременно – совершенно проста: организовать среди заключенных самодеятельный театр. «Я хочу, чтобы они смеялись!» – так задумала Никольская. И она добилась невозможного: «Во время репетиции, а тем более – самого спектакля они переставали чувствовать заборы и часовых вокруг себя». <...> Искусство раскрепощает, искусство освобождает – эта метафора во время чтения повести становится не метафорой, а реальностью. К театру тянулись люди, которые «не могли и не желали примириться с животным существованием в лагере», те, кто «не желал забывать в себе человека». <...>

Повесть А. Никольской – нравоучительная в высоком смысле слова литература, проповедь действенного добра, торжествующего в условиях зла, «метели».

*Опубликовано: Дружба народов. – 1987. – № 5. – С. 231–233.*

**Г. Петрова**

**Будем помнить**

**А. Никольская. Передай дальше!**

**«Простор», 1986, № 10**

В повести разворачивается галерея неповторимых своеобразных характеров: актеры, зрители, лагерное начальство, охрана. Благородство и подлость, трагедия и фарс, истовая преданность революции и пустая демагогия переплетаются и в той жизни весьма причудливо. <...>

В своих воспоминаниях А. Никольская ничего не упрощает, не сглаживает – лагерный мир ее лишен малейшего благообразия. Он населен не только невинными и несчастными людьми, но и уголовниками, мошенниками, прохвостами, бандитами. Надо было научиться сосуществовать и с ними. Самодеятельный театр помогал «не примириться с животным существованием в лагере». Давая возможность не забыть о подлинной жизни, потянуться к будущей свободе.

В повести приводятся живые и удивительно достоверные картины той жизни, множество точных, выразительных примет и деталей, свидетельствующих о художественной одаренности автора. Но главное, писательница свято берегла память о своих товарищах, чтобы – повторим и мы за ней слова Ю. Фучика – «...все знали, что не было безымянных героев, что были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и потому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю...»

*Опубликовано: Новый мир. – 1987. – № 10. – С. 255.*

## В. Курбатов

...Бог знает куда девается мое время <...> Единственное что прочитал – это повесть Анны Никольской «Передай дальше!» в «Подъеме»<sup>1</sup>, гораздо более значительную для меня, чем «Один день Ивана Денисовича», потому что более милосердную и при всей лагерной тьме просветную, непобедимую.

*Опубликовано: Уходящие острова. А. Борщаговский – В. Курбатов: эпистолярные беседы в контексте времени и судьбы. – Иркутск: Издатель Сапронов, 2005. – С. 285.*

---

<sup>1</sup> Так в тексте. Название журнала не «Подъем», а «Простор» (прим. сост.).

## **Н. Кузьмин**

### **От войны до войны. Ночные беседы**

<...> Вернемся к Никольской, к ее запискам. Как я загорелся напечатать их немедленно! Быстро подготовил, перепечатали, подошла пора сдавать в набор. И тут вдруг заколодило. Нет, не цензура, вовсе нет. Автор, уперся сам автор. Н. С. Тихонов, с которым Анна Борисовна находилась в постоянной переписке, высказал пожелание, чтобы записки увидели свет в Москве. Кое-что для этого он вроде бы предпринял... Ах, не стоило, совсем не стоило терять времени! Что-то подсказывало мне, что «оттепель» скоро кончится, следовало не тянуть, а наоборот поторопиться. Надеясь уломать автора, я задержал сдачу номера недели на две. Напрасно! Переговоры, уговаривания ни к чему не привели. А вскоре подули совсем иные ветры, «погода» резко переменилась...

Записки А. Б. Никольской появились уже после смерти автора, в 1986 году. Читатель может найти их в подшивке «Простора», прочесть и восхититься тем, что Человек, божье творение, во всех обстоятельствах жизни обязан оставаться на высоте своего назначения.

*Опубликовано: Молодая гвардия. – 1989. – № 8. – С. 49.*

## **В. Кавторин**

### **Журнальная проза – 86. Статья третья.**

### **Чувство пути**

Не было, пожалуй, в нашей истории времени и места хуже тех, что описывает в своей повести «Передай дальше» Анна Никольская: таежный Лагпункт, конец тридцатых... Под повестью даты: «1956–1965 гг.». В свое время на ее публикации настаивали Вс. Иванов, Мих. Слонимский, К. Паустовский, Н. Тихонов. Но шестидесятые, видимо, ужегнулись в сторону семидесятых – повесть увидела свет только теперь, спустя два десятилетия. Именно поэтому в нее стоит вчитываться очень внимательно – хотя бы для того, чтоб понять, шагнули ли мы вперед в понимании «плохих времен» и «качеств души», им противостоящих?

Повесть автобиографична. Никакого иного сюжета, кроме будней того самодеятельного театра, которым руководила сама Анна Борисовна, отбывая лагерный срок, здесь нет. Авторская установка более чем ясна: «А мы? Кто напишет о нас, о целом поколении великого народа?.. Кто расскажет о безымянных героях и снимет с них позор обвинений – ужасных, несправедливых, изобретенных больной фантазией, не постигающей человеческого страдания?»

Людей, вполне сумевших «удержать свою нравственность в бедствии», на страницах повести А. Никольской немало. Тут и пожилой учитель Функ, из поволжских немцев, – медлительный, добрейших тугодум, в любых обстоятельствах стремившийся быть объективным и безукоризненно справедливым; тут и украинка Тася... Она сидит «за мужа». К этим странным словам автор дает

примечание: «В 1937 году – распространенная квалификация: муж, мол, совершал преступления, а жена его укрывала, знала обо всем и не доносила». Уже в тюрьме стала Тася матерью, ребенка у нее отобрали... в лагере она «работала, перекрывая все нормы, чтобы получать хорошие характеристики, которые всегда прилагались к нашим заявлениям, направляемым в центральные органы. Начальник отделения почему-то ставил палки ей в колеса и даже требовал прекратить «эту глупую писанину». Тогда она послала письмо через кого-то из освободившихся товарищей, адресовав его «В Мавзолей. Ленину». Письмо дошло до областного прокурора, который выехал на наш центральный участок. Долго разговаривал с ней. Она сказала ему: «А что мне делать, если живые не хотят меня слушать? Написала Ленину». Узнав, что дочка погибла, Тася пыталась покончить с собой...

Но нет, не колючая проволока разделяет добро и зло в повести А. Никольской. Дело сложнее, путанней, трагичней. Взять, например, недолгого начальника Лагпункта Липовенко, «при котором система поощрений вытеснила систему унижений», или доброго конвойного Бояркина... Его спросили: не тяготиться ли он «своими обязанностями у нас: следить, не пускать, пересчитывать, запирасть?..

Бояркин подумал несколько секунд.

– Во-первых, бойца не спрашивают, пойдет ли он туда, куда посылают. А во-вторых... ведь как сказать?.. Человек человеку он везде нужен...

Он и был таким человеком».

Разве они, Липовенко и Бояркин, не герои? Разве их личная порядочность и человечность не противостоят больной фантазии и жестоким обстоятельствам отпущенного им времени?

Зато рядом с Тасей и Функом, по эту сторону колючки существует, и очень неплохо, доносчик и жулик Разиньков, «спешащая неслышной рысью фигура, наклоненная корпусом вперед,

как гончая, вынюхивающая все, прислушивающаяся ко всему кругом...» – фигура, как бы олицетворяющая «больную фантазию» эпохи.

Даже в одной судьбе добро и зло времени может существовать трагически нераздельно. Вот Анатолий Малышевский, человек явно талантливый, яркий, умудряющийся даже в лагере быть чистюлей и щеголем и, в отличие от всех, тщательно скрывающий, как и за что попал сюда. А осужден бдительный офицер-пограничник, увы, вполне справедливо: пьяный, в сумерки, поехал он на моторной дрезине и привиделись ему три шпиона, орудующие у насыпи. Когда отгремели выстрелы, оказалось, что это ребятишки играли... Умер Малышевский от скоротечной чахотки, не договорив фразу: «Их было трое...».

Яркость народных типов, богатство реальных судеб и точность запечатленных обстоятельств – вот главные достоинства повести Анны Никольской, но... Что позволяло одним оставаться людьми в любых обстоятельствах и по любую сторону колючей проволоки? Что ломало других, делая их носителями зла, «больной фантазии»? Что позволяло этой фантазии так разгуляться? Вряд ли можно отыскать ответы на эти вопросы непосредственно в повести А. Никольской. Она – свидетельство о пережитом, о времени, но еще не попытка осмыслить его закономерности. И это, если хотите, характерно для той литературы, что создавалась сразу же после XX съезда партии. Тогда главным было заклеить злодеяния времен культа личности И. В. Сталина, засвидетельствовать благородство одних, трусость других... Вопросы более сложные откладывались на потом. Сейчас пришла пора именно таким вопросам.

*Опубликовано: Нева. – 1987. – № 9. – С. 152–153.*

## К. Кешин

### Святая Анна

<...> Анна Борисовна никогда не торопилась, белая страница становилась для нее полем жизни, по которой необходимо идти, отвечая за каждый шаг, за каждое написанное слово. О генеральном принципе своего мировоззрения сама она прекрасно сказала на первой же странице проникновенного ностальгического эссе «Пропавшие письма»:

«Следопыт. Какое емкое, многозначашее слово! ... есть следопыты-историки и литературоведы. Их много, они проводят огромную работу по разысканию и собиранию материалов, казалось бы, навсегда утраченных и погибших. Мы часто называем старинные памятники материальной культуры «немыми свидетелями прошлого». Насколько же драгоценны для нас книги, рукописи и, в частности, дневники и письма, эти подлинно «говорящие свидетели» нашего прошлого! ... по рваным, изъеденным мышами клочкам исписанной бумаги, по нескольким строчкам надписей историки и литературоведы возрождают к жизни интереснейшие факты и характеристики, воспроизводят забытые биографии и дают новое освещение ранее непреднамеренно или нарочито искаженным событиям и человеческим обликам...».

Какое знаменательное, столь многое объясняющее в характере Анны Борисовны признание!.. Именно это чувство – бесконечная любовь к людям, ко всему талантливому, забота, чтобы ничего из высокого, чудесного, неповторимого не пропало – помогло Никольской перенести мучительные лагерные времена, спустя годы написать об этом пронзительную повесть

«Передай дальше!», более того, в зрелом возрасте в полной мере обрести неповторимый дар письменного слова. <...>

Писательская судьба Анны Борисовны сложилась ничуть не счастливей ее многотрудной биографии. Как символичен рисунок на обложке ее второй книги!.. Писательница еще подержала ее в руках, но, теряющая память, судорожно прятавшая под подушкой черные сухари, словно вновь настали голодные лагерные годы, смогла ли испытать прекрасную радость автора, исполнившего долг перед своим талантом, перед людьми? Тот самый долг, о котором она так прекрасно, так пронзительно написала в предисловии к последней своей повести «Передай дальше!»: «... я исполняю мое обещание: передаю рассказ умирающего командира в руки моего неведомого друга, читающего эти строки.

Передай дальше, товарищ читатель!»

Так вот об этом самом рисунке на обложке... Над названием «Пропавшие письма» – обыкновенный классический петербургский пейзаж: разноэтажные дома, плотно сгрудившиеся на какой-то неизвестной набережной, каменная облицовка вертикального берега, к которому подходит северная вода, бедные деревья, невысокая чугунная ограда, и все это резко заштриховано, перечеркнуто косыми дождевыми струями, так и кажется, что по-осеннему холодными. <...>

Что касается судьбы Анны Борисовны Никольской, о ней можно сказать словами Шекспира: «Нет повести печальнее на свете...»

Но нет повести и мужественнее...

*Опубликовано: Литературная Алма-Ата: Альманах. – 2007. – № 11.*



**Семья Никольских, 1911 г.  
А. Б. Никольская вторая слева от отца**



**Борис Владимирович  
Никольский  
(1911–1912?)**



**Анна Борисовна  
Никольская, 1928 г.**



**А. Б. Никольская,  
(1948–1950?)**



**С мужем Б. И. Ильным-Какуевым, февраль 1956 г.**



**Юбилей А. Б. Никольской,  
Алма-Ата, 1959 г.  
Слева направо: Б. И. Ильин-  
Какуев, А. Б. Никольская,  
М. О. Ауэзов**



**Анна Борисовна Никольская,  
Алма-Ата, 1963 г.**

---

---

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ А. Б. НИКОЛЬСКОЙ

Все основные произведения А. Б. Никольской – свидетельства о пережитом, о времени и о себе, о жизни и судьбах встреченных ею людей. Но они не просто автобиографичны. Каждый взятый из жизни сюжет приобрел в них некую самоценность. Они стали интересными как интересна, многогранна и непредсказуема сама «живая жизнь». На эту жизнь А. Б. Никольской удалось взглянуть глазами художника.

Для иллюстрации ее литературного творчества вниманию читателя предлагаются небольшие, но яркие и колоритные произведения. За кадром этой книги, к сожалению, в силу большого объема осталась главная повесть **«Передай дальше»**, посвященная созданию самодеятельного театра в условиях лагеря для заключенных.

Открывается третья часть рассказом **«Передай дальше»**, где описана встреча автора, тогда еще очень молодой и жизнерадостной девушки, с умирающим командиром – ветераном гражданской войны. Последняя просьба военного человека заключалась в необходимости донести людям правду о произошедших на войне трагических событиях. Это был главный долг и главный завет, который он передал автору и который А. Б. Никольская восприняла как девиз жизни.

Повесть «Геленджик» также основана на впечатлениях, когда «была молодость. Были надежды. Были успехи. Была радость труда – научного, педагогического – неисчерпаемого и любимого». В повести приводятся живые и удивительно достоверные картины прежней жизни, запоминающиеся портреты людей, множество точных, выразительных примет и деталей, свидетельствующих о художественной одаренности автора.

Рассказ «Иннокентий Васильевич» наиболее остро передает боль, пережитую автором. Хотя рассказ основан на документальном повествовании, он представляется как художественно целое произведение. Впечатляет глубина проникновения А. Б. Никольской в психологию и личность человека, который творил страшное зло и одновременно каялся.

## Передай дальше!

Это было давно... А может быть, и совсем недавно: всего тридцать пять лет назад... Шкала времени так условна, – смотря чем и откуда ее человек измеряет.

Я заканчивала аспирантуру при научно-исследовательском институте. Тяжелая болезнь сковала меня и надолго выбила из привычной колеи.

И вот...

Побережье Балтийского моря за Ораниенбаумом<sup>1</sup>. Жаркое, на редкость жаркое лето. Образцовый санаторий, куда я попала после больницы, слабая, почти неподвижная, притихшая. Я числилась «особо тяжелой» больной, но, к удивлению всех, стала поправляться «назло медицине», как я сама говорила.

И вот я лежу на раскладной кровати, поставленной в тени под деревьями. Нас, слабых больных, каждый день выносят или выводят в сад с утра, и мы лежим здесь почти до заката солнца. Невдалеке от меня еще одна койка. На ней вытянулся мужчина лет сорока. Лицо его заострилось, пожелтело и кажется восковым. Он лежит всегда неподвижно и редко открывает глаза. Но когда они открыты, его взгляд словно ищет что-то, напряженно оглядывая вокруг и предметы, и людей. Потом он глубоко и тяжело вздыхает и снова закрывает глаза. Случайно я слышала разговор о нем палатных врачей: его считают безнадежным, и директор санатория хлопочет о переводе его в больницу – таких в санатории держать не полагается. Слышала я также, что он ветеран гражданской войны, имеет орден Боевого Красного Знамени.

---

<sup>1</sup> О р а н и е н б а у м – ныне город Ломоносов.

Хоть мы изо дня в день и лежим с ним рядом в саду, я даже не знаю, как его зовут. И разговоров у нас с ним не бывает. Мне кажется, что ему тяжело говорить. Ко мне часто подходят гуляющие по саду больные, присаживаются, болтают, смеются. Я молча указываю глазами на моего соседа и прикладываю палец к губам: тише... Впрочем, я не уверена, слышит ли он нас.

В саду мелькнули белые халаты: врачи вышли на обход лежащих больных. Главврач в сопровождении палатных ординаторов и дежурной сестры подошел к моему соседу и сел на соломенное кресло. Начался, как я понимала, ничего не значащий разговор: главврач разыгрывал интерес к больному и внимание к его словам. Потом он дал короткие тихие распоряжения врачу и сестре, быстро записывавшим его назначения.

И вдруг я увидела, что умирающий понял всю фальшь этих разговоров не хуже меня. В то время, как главврач поднялся с кресла, чтобы продолжать обход, больной беспокойно заметался, несколько раз нервно взмахнул рукой и впился глазами в лицо врача.

– Доктор, подождите, доктор, – вдруг быстро, точно в лихорадке, заговорил он. – Подождите, дайте сказать!

Главврач вернулся к нему.

– Доктор, поговорим честно, – снова зачастил мой сосед.

– Неужели нельзя ничего сделать? Мне совершенная необходимость поправиться! Понимаете? Ну необходимость! Я сейчас умереть не имею права, доктор!.. Вы не думайте, что я брежу, я в полном моем сознании... но... боюсь, вы не поймете меня... мне надо жить, во что бы то ни стало! Доктор!..

Главврач изобразил удивление: почему больной выдумал, что не будет жить? Зачем же его тогда лечили в больнице и послали в санаторий? Зачем ему назначают различные процедуры, зачем дают лекарства? Стыдно так малодушничать

и поддаваться тяжелым мыслям! Он же мужчина, надо взять себя в руки и всю свою волю направить на то, чтобы выздороветь!..

Уже на половине его речи больной опять затих, вытянулся и закрыл глаза. Только дышал он по-прежнему порывисто и неровно.

А день сиял вокруг такой безоблачный, такой прекрасный, напоенный запахами флоксов, душистого горошка, левкоев, буйно расцветших на клумбах перед санаторием. Где-то внизу чуть слышно плескалось море – сегодня такое радостное, все в бесконечных солнечных искрах...

Ко мне подошли две смешливые девушки – больные. Они, кажется, считали своим долгом навещать меня и ежедневно справляться о моем здоровье. В их немудрых головках в поразительном хаосе уживались все санаторные сплетни, все тайны краткосрочных, или, как они называли, «скоротечных» романов между больными, все точнейшие сведения о том, чем нас будут кормить за обедом. Одна из них, прехорошенькая блондинка Лида, иногда затрагивала материи и повыше, хотя бы о том, как незадолго до болезни она была в филармонии на концерте и слушала... «Страсти Бахуса».

Они начали хихикать и затеяли свою обычную болтовню.

– Больной, примите лекарство!

Это медсестра подошла к моему соседу, подавая рюмку с темной жидкостью.

Больной медленно раскрыл глаза и поморщился.

– Ну зачем? – тихо проговорил он. – Опять горечь какая-нибудь невыносимая...

Сестра стала уговаривать его; это же новое лекарство, главврач специально назначил его, больной сам только что просил помочь ему и лечить его.

Мои смешливые гости вмешались в разговор:

– Ах, ах, – затараторили они, – ну как можно отказываться от лечения? Невыносимая горечь? Товарищ такой трусливый? Горького боится! Ах, как стыдно! А еще, говорят, был военным, сражался! Ах, какой ужас! Горькие капли!

Умиравший быстро протянул желтую руку, схватил рюмку и залпом выпил лекарство. Потом молча повернулся к девушкам – и такая суровая обреченность глянула из его глубоко запавших глаз, что болтушки смутились, быстро распрощались со мной и ушли не оглянувшись. Ушла и сестра.

– Опять «стыдно»... Опять «малодушие»... – едва слышно проговорил мой сосед. – И «страх»! И «ужас»!

Он замолчал. Мне показалось даже, что он заснул.

Но он не спал. Через минуту-другую он открыл глаза и весь вскинулся на своей койке.

– Ну, значит, вот так, – твердо начал он, точно приняв какое-то решение или отдавая приказание. – Мне нужно поговорить с вами.

– Пожалуйста, с радостью. Я слушаю.

– Только вы должны быть терпеливы, – его голос сразу стал мягким. Трудно было поверить, что минуту назад его слова звучали приказанием.

– Видите ли, когда человек умирает, ему очень трудно свои мысли в порядок привести. Боишься упустить что-нибудь. А потом, может, уж поздно будет. Из ваших разговоров я понял, что вы научный работник, литературой занимаетесь. Такая молоденькая, а в науку пошли. Ну что ж, всякое дело смолоду заваривается, особенно ученье. К слову сказать, моя молодость так прошла, что не до ученья было. А думал о нем, ох как думал!.. Да вот... Ну, ладно. Сейчас я не о том. Литература, стало быть, – слово. А на что иным людям слово дается? И ни к чему бы им... Человека нужно учить со словом обращаться. А без этого – какой в нем смысл? Чик-чирик – вот как эти девчон-

ки... или бум-бум! – как главврач. А что к чему – не знают, и что говорят – сами не понимают. Слово – это сила! Словом и убить и воскресить можно!

Я кивнула головой. Он помолчал. Он отвык говорить столько. Ему было трудно.

– Слыхали вы, какие они слова говорили? А? «Малодушие», «трусость», «стыдно», «страх», «ужас»... В каждом слове – молния. А они ими будто в мячик играют... Уважать слово надо!

Опять молчание.

– А то врачам невдомек, какие я им слова сказал: мне необходимо жить. Мне до смерти жить надо! Не поняли. Мимо прошли. Ну что ж... А имеет ли право помирать человек, если у него долг на душе остался? А? Как оно у вас там в литературе получается? Ну, к примеру, если ты не сделал того, в чем клятву дал: должок остался, а ты помираешь? А?

– Вы не отвечайте мне, это я не вас, это я самого себя спрашиваю. И думаю – есть выход. Знаете вы такую детскую игру – «передай дальше» называется? Передают друг другу слово на ушко или вещь какую, а тот дальше, а тот дальше. А кто спутается или не передаст, иль сам попадетя в неправильности, того либо в самый хвост садят, а либо и совсем из игры вон. Правильная игра. Справедливая. По-разному, конечно, играют: ин хлопают друг друга по плечу, ин еще как. Но все – принцип (он так и сказал: первый слог твердо, а конец – мягкий), принцип один.

Вы думаете, к чему это я? А вот скажу вам слово – и по плечу хлоп! – «Передай дальше!» Пусть кто другой на себя мой должок примет! А?

Я опять кивнула головой: согласна, мол, говори, товарищ!

– Ведь я и о словах-то не зря говорил. Эти две чирикалки тут нагородили! Им что страх, что ужас, что горькие капли – все без надобности, все в одну кучу. А я вам скажу: страх и

ужас – бог ты мой, ведь между ними пропасть без дна лежит, океан целый! Вы об этом думали? У-жас... Подождите, отдышаться дайте, уморился...

Ну, ладно. Торопиться надо. Слушайте:

Это в девятнадцатом, когда Юденич наступал. Во второе его наступление. Осенью. Я тогда связистом работал. Залегли наши части по линии Детское Село – Средняя Рогатка – Пулково, вроде треугольника получается, если с юго-запада смотреть. А Юденич оттуда на нас и двигался.

Горячий день был. Юденич наступает, а мы оцетинились. Такой грохот кругом! Скажи – оглох от него. А телефон так и трещит, так и жужжит под ухом, знай – не прохлопай.

Часов около двух дня у Пулкова стало потише, а моя точка как раз между Средней Рогаткой и Пулковым была. Орудийная эта музыка будто откатилась немного подальше, телефон тоже передышки давать стал. Но с места двигаться приказа еще не было. Ну и лежу я у ящика.

Вдруг телефон как затрещит! Я за наушники. И вот скажите, ведь целый день трещала машинка эта, а тут у меня сердце – тук! – ну, чувствую я тревогу какую-то.

– Алле! – кричу. – Слушает «палаш»! Слушает «палаш»!» (это, понимаете, командир у нас сурьезный был, флотская душа. Никаких этаких «ласточек» да «фиалочек» не признавал и связь суровыми именами окрестил: мачта, парус, палаш, штык... Говорили, что и «полундру» включил, только будто кто-то ему отсоветовал). Да... Так я свой отзыв дал, а ничего понять не могу: говорят откуда-то совсем из постороннего места. Как подсоединились – до сих пор не знаю. Но повис на мне тот телефон, понимаете...

– Алле! – кричит. – Откуда? Откуда это?

А я опять свое:

– Говорит «палаш»! Говорит «палаш»! А ты кто?

– Товарищи! – кричит мне голос в трубу. – Товарищи, слушайте! Я с тридцать пятого по Гатчинскому шоссе! Один остался! Сторожка у водокачки! Они наступают! У меня ценные бумаги, товарищи! Бумаги, поймите вы!

У меня сердце провалилось: ведь это десятка два километров от нас, если не больше! Безнадежное же дело! Хочу соединиться с другими постами по линии, дать тревогу, но тот телефон держит меня! Он и сам отрезан, и меня отрезал от других! Податься некуда!

– Друг, – кричу ему, – ну что я могу сделать?! Я связист на линии, от тебя двадцать километров! Побегу я, что ли, до тебя?!

Знаю же, что нельзя на передовой такое в трубку кричать – и сам себя не помню! А в трубке опять тот голос:

– Связист на линии? Двадцать километров? Так передай дальше, товарищ! Окружают водокачку! Ведь бумаги же! Мне бумаги доверены! Неужто не можешь? Передай дальше!

– Жги, рви бумаги, товарищ! – кричу.

В аппарате – щелк, щелк! Неужели отцепился! Нет, все тот же голос:

– Товарищ, я поджег пакеты! Това...

И тут в трубке так трахнуло, что и у меня чуть голова не отлетела. Снаряд? Выстрел? Не знаю, ничего не знаю... А потом все смолкло. Ни голоса, ни сигналов.

Вот это и был ужас. Я повалился головой на ящик – и плакал, как мальчишка, плакал... Я не знал, с кем я говорил тогда, и никогда не узнаю. Но ведь там, за этими проклятыми километрами, погиб мой товарищ, мой неизвестный друг, а я был бессилен помочь ему. «Передай дальше!» Бессилие – вот ужас!.. А страх тут ни при чем... Чуваете разницу?

Мой командир говорил мне потом, что из такого бессилия сила рождается. Верно, конечно. Моя жизнь могла тому приме-

ром быть. А вот изранило меня вскорости – и ребер не досчитаюсь, и брюхо разворотило... Врачи склеили, сшили, залатали – живи, герой! А я мучаюсь с тех самых пор... И из нынешнего моего бессилия уж никакая сила родиться не может..

Умираю я. А вот... день тот во мне живет. День моего ужаса. Слова эти: «Передай дальше!.. «Неужто не можешь?» Не передал. Не мог передать. Вот он, долг-то мой! Ведь я как понимаю: не о своем спасении он меня просил... То есть, конечно, живой живое и думает, каждому жить хочется... И какой желанной жизнь кажется, когда тебя смерть за горло берет! А все же он, товарищ тот, о долге своем старался! Часто нам о воинской чести твердят, мы к словам-то привыкли, а вот она, честь-то воинская! Ведь бывает – пропадет так человек без вести в бою, а кто его знает, как он пропал? Может, струсил, сдался, присягу нарушил... Пропал – и все. И имя его опозорено, и семье стыд... А он: «Я поджег бумаги, – кричит, – передай дальше!» Как рапорт по линии! А имени-то своего и назвать не успел!.. Герой безымянный с тридцать пятого Гатчинского...

Вы, наверное, думаете: и с чего это он к такому случаю прицепился! Мало, что ли, на войне смертей видел?

Я и сам об этом думал. А вот поди ж ты, выпился в меня крик этот «Передай дальше!» Наверное, так и в жизни бывает и быть должно: засядет этакая заноза в памяти – и не вытащишь. Да, много смертей видел – страшных смертей... А настала минута – и на всю жизнь увидел, даже не увидел, а услышал! Понимаете?! Бывало с вами такое?

Мне после того долго кричать хотелось, так кричать, чтобы все люди слышали, чтобы мой ужас во все сердца, во все мозги стучался! Отомстить? Это – полдороги. А путь-то ведь дальше лежит: не должны люди нигде никогда по-зверски жить. Не должно на земле войны быть. Бабка моя, старуха, говорила: «Милый ты мой, когда люди воюют, земля-матушка под ими

стонет, крови их не принимает...» Война – всегда зло, а тогда... Тогда, может, парни с нашей родной деревни на нас же шли! Головы задуренные! Нет, должна другая жизнь на земле быть, без войны! А будет такое время, а? Я так думаю, что будет. Должно быть. Не скоро, наверное? Я-то его не увижу, ясно... А вот... Знаете, охота мне, чтобы дети наши дожили...

Мой собеседник совсем выдохся. Говорить ему было трудно. Я напряженно вслушивалась – это был почти шепот. Я понимала, что мне надо было остановить его, уговорить отдохнуть, успокоиться и в то же время что-то твердило мне, что я не имею права прервать его, что это будет не только обида, но и напоминание ему о его новом бессилии, о его новом ужасе. И я молчала.

– Сын у меня есть... Миша... Одиннадцатый годок ему. Не увижу я, как он взрослым станет, мужества его не увижу... А вот передать бы ему отцов должок... Да я сам против себя иду: не позволил его привозить сюда, не хочу, чтобы он таким отца видел. Веселый он, боевой... И музыку любит: как услышит где хоть какую музыку – хоть баян, хоть песню, хоть пластинку в граммофоне – так и замрет на месте, слушает... А потом сподет ее, да так правильно, нигде не сфальшивит... Мне говорят – музыкантом он у тебя будет... Ну что ж, хоть и музыкантом, лишь бы дело свое любил... Тяжело мне... Зубы стискиваю, а тяжело... И дружков-товарищей по дальним краям раскидало – и поговорить не с кем, – бывшее вспомнить.

– Слушайте, – вырвалось у меня, – товарищ... Простите, имени-отчества вашего не знаю...

– Борисом Павловичем живого звали...

– Так слушайте же, Борис Павлович, конечно, лишнее это, если я скажу вам, что нашу с вами жизнь никто аршином не мерил и по мерке не отпускал... И не знаем мы, сколько кому прожить придется. Вы, наверное, и без меня не раз об этом

думали. Я о другом хочу сказать... что ко всему, о чем вы говорили, и будущему нашему не один путь лежит. А пути-то все сходятся: будет мир на земле! Ваш путь, вы говорили, боевой. А слово ведь тоже путь! Путь к миру между людьми! Вы говорили: «Передай дальше!» – ну и передам! Словом, вашим же словом передам! Не знаю когда, а передам!

Борис Павлович слабо улыбнулся, как будто сказал: «Поняла? Ну и отлично! Передай дальше!»

На следующий день моего соседа не вынесли в сад: ему стало хуже. А еще через два дня его увезли в больницу. Я его больше не видела.

Я приняла на себя его долг. И сейчас я исполняю мое обещание: передаю рассказ умирающего командира в руки моего неведомого друга, читающего эти строки.

Передай дальше, товарищ читатель!

*Опубликовано: Никольская А. Б. Передай дальше! // Никольская А. Б. Пропавшие письма: Рассказы. – Алма-Ата: Жазушы. 1976. – С. 3–11.*

## Геленджик

Жаркое лето. Утомительный путь в душном вагоне из Ленинграда, час езды в открытом автобусе из Новороссийска – и финиш: Геленджик.

Четыре цвета окружают нас: седовато-синий – моря, темно-зеленый – гор и скудной растительности побережья, золотисто-желтый – песчаных берегов и отмелей. А надо всем этим – ярко-голубое небо, на которое больно глядеть, – такое оно сверкающее.

Море видно из окон. Море – хозяин берега: и маленького домика, в котором мы поселились, и яркого цветничка вокруг, и всего жаркого белого города в темно-зеленой бархатной подкове невысоких предгорий. Власть моря с его капризными ветрами видна даже в мелочах, даже в обточенных волнами четырех гладких камнях, положенных на скатерть по углам стола, стоящего на открытой веранде, – обычная мера предосторожности против шалостей Геленджикской бухты: скинет ветром скатерть, перебьет посуду...

Какое необыкновенно легкое чувство отдыха, праздничного, солнечного! Хорошо даже то, что природа здесь не утомляет глаз особой пышностью: очень скоро начинаешь понимать, до чего же она щедра в своей кажущейся скупости, как много оттенков и настроений в однообразии каменисто-песчаных берегов и темной зелени окружающих гор. А море! За один день перед глазами проходят все краски, какие доступны человеческому зрению! Нет, большего здесь и не нужно!

У нас в домике много хозяев – и в то же время они точно слились с цветничком, прохладной верандой, вечно пересыхаю-

щим колодцем во дворе, со всем городом – и стали неотделимой деталью нашего геленджикского отдыха. Три старушки-сестры, которых здесь все величают по отцу Платоновнами, их племянница и ее муж. Все они обладают замечательным свойством (или даром, что ли?) – исчезать, когда нам хочется отдохнуть, появляться словно из-под земли, когда нужны услуги и забота добрых хозяев.

Даже соседи, живущие в глубине двора во флигеле, жена московского инженера с двумя детьми – дочуркой Ниной и трехлетним философом Валею – не портят дела. Ансамбль завершает тринадцатилетняя молочница Руфь, белокурые косы и синие глаза которой приводят меня в восхищение, и мальчишка – базарный разносчик Феб, прекрасный, крепкий южный сорвиголова, с которым я сразу же начинаю дружить.

Феб! Это имя и стало завязкой нашей дружбы. Когда на вопрос, как его зовут, мальчишка произнес «Феб» как что-то обыденное, я даже подумала, что ослышалась: торжественное имя олимпийского божества выплывало откуда-то из древней Эллады в применении к этому юркому черномазому существу, несшему мой чемодан с автостанции! Заметив мой удивленный взгляд, этот современный бог солнца вытер грязной рукой пот с лица и спросил:

– Чего это вы на меня так уставились? У нас Фебов много. Меня так по деду называли!

Впоследствии мы привыкли к его имени. Если в Геленджике бытовали фамилии Орестовых, Плавтовых, Олимпиевых, – почему не быть и Фебу?

Я говорю «мы», «нас», «нами»... Мы – это двое, приезжие из Ленинграда: мой старший друг и моя гордость, Александра Николаевна, профессор-физик; ну и я – аспирантка научно-исследовательского института с таким длинным названием, что,

когда я начинаю произносить его, Александра Николаевна со смехом затыкает себе уши и просит:

– Сделай мне знак, когда ты договоришь свое заклинание до конца!

Мне здесь все внове. А Александра Николаевна – свой человек в белом домике: хозяева наши – ее давние друзья, и она уже несколько лет подряд проводит здесь летний отпуск. У нее в Геленджике есть (или как я говорю – образовалось) несколько знакомых, которые частенько заходят к нам. А в этом году я – «приложение» к ней: она пригласила меня поехать вместе.

Проходит несколько дней. Мне часто кажется, что геленджикский календарь отстал на несколько десятилетий от ленинградского, по которому я жила до сих пор, или что время здесь спуталось в клубок, из которого не вытянешь ниточки настоящего из сложных узелков прошлого. Гуляя по улочкам города, где то и дело царапаешь себе ноги и рвешь платье о цепкие кусты держи-дерева, из раскрытых окон, особенно вечером, слышишь звуки усердно разыгрываемой на пианино сентиментальной пьесы, которую когда-то играла моя бабушка в качестве воспоминания о своей ранней юности; или чьи-то голоса, поющие романс «Ключ», – тот самый «Ключ», который пели Наташа и Николай Ростовы в «Войне и мире»; на стенах комнат видишь старые олеографии, изображающие Невский проспект времен Гоголя... Где я? В каком веке?

В нашей комнате тоже есть маленький рояль (да-да, рояль, а не пианино!) с дрожащим звуком разбитых клавиш, не только не мешающим играть на нем, но даже гармонирующим со всем окружением прошлого века. Рядом – этажерочка с нотами самого пестрого содержания: есть кое-что старое – клавиры Верстовкого, Кавоса, Пуни и пьесы и романсы неизвестных мне композиторов середины XIX века; есть и Глинка, Чайковский,

Шуман и даже последнее издание французских бержеретт<sup>1</sup> – можно сказать, совсем новинки!

По вечерам мы приглашаем наших хозяев, а иногда и немногих гостей к себе в комнату. Александра Николаевна садится за рояль – она вообще хорошо играет, а этот старенький музыкальный инвалид под ее руками издает такие трогательные робкие звуки, что маленькая аудитория слушает, как завожженная. А я – я расхрабрилась настолько, что пою под ее аккомпанемент, и невзыскательные слушатели хвалят нас обеих! Разве в Ленинграде я рискнула бы петь перед «посторонней публикой?» Нет, видимо, здесь я и сама отступила в прошлый век вместе с окружающей меня обстановкой!

Всего какая-нибудь неделя-полторы отдыха, прогулок («прогулок»! Две-три сотни шагов от дома!) на пляж, купанья в теплых волнах моря, сонной, несвойственной мне лени... И вот – ох, неумная душа человеческая! Во мне опять проснулся бес любознательности, жажда деятельности и новых впечатлений. Мои прогулки становятся все длиннее; разнообразные сведения и рассказы, сыплющиеся на меня со всех сторон, а главным образом от Феба – все интересней. Феб и двое ребятишек нашей дворовой соседки изобрели мне имя: тетя Ака. Я очень горда. Кроме этой тройки, вряд ли кому-нибудь придет в голову называть меня тетей, – уж очень у меня неподходящая внешность для «тетки». Скорее я выпляжу старшей сестрой этих ребятишек.

Наконец, гуляя по городу, я решаю заглянуть в местный краевой музей, яркая вывеска которого красуется на маленьком белом, как весь город, домике одной из главных улиц и уже не раз привлекала мое внимание.

Я вхожу в крошечную прохладную комнатку, именуемую здесь вестибюлем, и сразу включаюсь в детскую игру, которой заняты взрослые люди и которая называется «посещение му-

---

<sup>1</sup> Бержеретты – французские салонные пастушеские песенки.

зея». От стены с ленивым усилием отрывается длинная фигура старика, дремавшего в углу. Надев очки, он спрашивает привычной, зачерстневшей от постоянного употребления фразой:

– Член профсоюза? Предъявите свои документы!

Я не ожидала таких формальностей. По счастью, в моей сумочке находится какой-то документ или справка. Старик, взглядываясь в бумагу и шевеля губами, с трудом читает отпечатанный на машинке текст, недоуменно вскидывает на меня глаза (опять мой вид не подходит для «тети» из научно-исследовательского института!), в раздумье покачивает головой, но все же выдает мне билет с жирным штампом «бесплатно» и не то ухом, не то подбородком указывает в сторону двери, откуда, очевидно, должен начаться осмотр. Сам он опережает меня и становится по ту сторону двери.

Игра продолжается: как только я переступаю порог указанного мне входа, как тот же старик требовательно протягивает руку.

Ага, контроль! Ну совсем как у больших!

Своими заскорузлыми пальцами старик отрывает от билета бóльшую часть, а оставшуюся узенькую полоску возвращает мне с лаконичным:

– Проходи́ть!

Ну, конечно, я была права в моих предположениях: две-три малютки-комнаты музея ничего не дают для глаза, искусственного осмотрами всевозможных хранилищ. Флора, фауна, быт, история – все в таком случайном подборе и такой миниатюре, что мне кажется, я все это уже видела, все знаю и обо всем этом читала. На минуту задерживаюсь у бронзовой не то кафельницы, не то сосуда для хранения ароматов тонкой чеканной работы с резной надписью поздней славянской вязью о том, что этот неопределенного назначения предмет был прислан в лето от сотворения мира такого-то иверским царем имярек благо-

верному царю и государю всея Руси Алексею Михайловичу с таким-то посольством и «протчими дары». Параллельно этой надписи, опоясывающей круглое основание предмета, вьется вторая строка, чеканенная непонятной мне сложной вязью, – очевидно, грузинской.

Несколько дольше останавливаюсь у двух дольменов<sup>2</sup>, рядом с которыми лежат их каменные пробки, некогда закрывавшие круглые отверстия лицевых камней-стенок. На этикетке, которыми очень богато и толково снабжены все экспонаты музея, с интересом читаю очаровательную легенду о мудрых карликах, живших в этих каменных домиках. И эти маленькие мудрые существа повелевали целым народом глупых великанов.

Вот и все. Музей осмотрен. У выхода передо мной возникает тот же флегматичный «контроль», который, не говоря ни слова, выхватывает у меня из рук остаток моего разорванного бесплатного билета.

– Скажите, – обращаюсь я к контролеру, – есть в вашем музее архив?

Глаза моего собеседника наконец открываются во всю ширину.

– Архив?.. Який архив?.. У цих кимнатах е все, що мы маємо.

– Ну, старые бумаги, письма, рукописи...

Старик даже поперхнулся.

– Паперы? Яки вам треба паперы?

– Стари, – отвечаю я коротко. – Стари, списани паперы.

Контролер долго молчит, точно силясь осмыслить, что кроется за моими, такими чудными, вопросами. Наконец, почесав загривок, отвечает нараспев:

---

<sup>2</sup> Дольмены – древние погребальные сооружения из нескольких каменных глыб и плит очень большого размера, поставленных вертикально и перекрытых массивной горизонтальной плитой.

– Як вам казаты? Паперу у нас багато. Старого, спысанного, такога, що и мыша сгрыз. Тики вин у кабинета директора. А на що вам це?

Я не рискую объяснять мое – дикое с его точки зрения – пристрастие к «старому спысанному паперу», который, вдобавок, «мышя сгрыз». Я просто прошу провести меня в кабинет директора.

Вялая, почти неподвижная фигура контролера приходит в движение, и он со словами:

– Пидождить, я зараз, – неожиданно быстро поднимается по маленькой крутой лестничке на антресоли. Через две-три минуты он свешивается в пролет лестницы и манит меня пальцем.

– Идить сюды, пидемо до директора!

Я поднимаюсь наверх и вхожу в странную комнату с низким потолком, заваленную всевозможным хламом, начиная с рогов, клювов, черепаших панцирей, каких-то поломанных скелетов и шкурок, окруженных роем моли, – и кончая грудями газет и бумаги, к которым, судя по их виду, никто не прикасался годами. Окно, имеющее необычную форму полукруга основанием вверх, едва пропускает свет сквозь многолетний слой пыли. Письменный стол, тоже заваленный рухлядью и пыльный, стоит в самом темном углу комнаты. Неужели это резерв музея?

За моей спиной раздается шорох. Я оборачиваюсь – и едва не вскрикиваю от изумления: передо мной стоит почти голый человек – на нем надеты только коротенькие вылинявшие трусы и... очки, обвязанные вокруг головы кусочками веревки. На вид ему лет около пятидесяти. Он худ и черен от загара, высокий, какой-то нелепый, с головой, похожей на детские рисунки: без затылка, с прямым длинным носом. Тощие ноги босы, грудь, руки и ноги покрыты седеющими волосами.

Встретившись со мной взглядом, этот скелет, обтянутый кожей, пятится и исчезает за маленькой, ранее не замеченной мною дверкой со словами:

– Виноват... сейчас... Я оденусь...

Голос у скелета тихий, глуховатый.

Минуты через две-три дверка открывается. Скелет «оделся»: теперь на нем, кроме трусиков, красуется неопределенного цвета порванная сетка, через которую седеющая щетина топорщится, как листва сквозь клетки жардиньерки. Остальное – все в той же извечной непосредственности первого человека до грехопадения.

Мягко ступая по полу босыми ногами, это привидение приближается ко мне.

– Вы хотели меня видеть? – тихим голосом спрашивает он. – Я к вашим услугам.

У меня чуть не вырывается: «Я? Вас?! Хотела видеть?» – но усилием воли я сдерживаю себя и полувопросительно отвечаю:

– Я хотела видеть директора музея...

– Да, да, я к вашим услугам: директор музея Красин, – рекомендуется мой новый знакомый. И тут же, отмахнувшись рукой в сторону окна, прибавляет:

– Нет, нет, вы не думайте, я не *тот* Красин... и к ледоколу тоже никакого отношения не имею... Я – просто Красин... А то многие спрашивают...

Его светлые глаза сквозь стекла очков кажутся неестественно выпуклыми и настороженными, почти испуганными.

Я называю себя, свою специальность и протягиваю ему руку. Он схватывает ее своей бронзовой неандертальской лапой и секунду держит, как будто не зная, что с ней делать. Потом несколько раз встряхивает ее так, что у меня что-то хрустит в плече. Директор конфузится и отступает от меня.

Минуту мы стоим друг против друга молча. Он, видимо, ждет моих дальнейших объяснений, но я так растерялась от неожиданности, что не знаю, с чего начать. Вдруг он приходит в беспокойство и начинает метаться по сторонам.

– Вот одичал я! – силясь улыбаться, повторяет он. – Простите великодушно! Такой редкой гостье и присесть не предложил!

Кожаная развалина, когда-то бывшая креслом, трещит от первого же его прикосновения. Он выхватывает из ближайшей мусорной кучи грязную тряпку и начинает тереть ею пыльное, рваное сиденье. Мне становится страшно смешно – и в то же время я боюсь обидеть это непонятное мне существо.

– Бросьте вы, товарищ «просто Красин», грязь грязью вытирать! – со смехом, которого я больше не могу сдерживать, говорю я ему. – Я все равно не сяду: мне жизнь дорога, да и платье тоже. Сейчас мы лучше постоим, а дальше видно будет. Я не собираюсь задерживать вас.

Несколько секунд он остолбенело смотрит на меня, потом вдруг озорно, по-мальчишески швыряет тряпку в угол и разражается хорошим, искренним смехом.

– Бросил, видите? – указывает он глазами на грязный лоскут. – Теперь я весь внимание.

Я перехожу к цели моего посещения и кратко излагаю ему мою просьбу – я хотела бы ознакомиться с архивом музея. Он не сводит с меня взгляда.

– Послушайте, – вдруг перебивает он меня, – это вы вчера вечером пели в доме Плавтовых на Трибунальной?

Я остаюсь с полуоткрытым ртом, не закончив фразы палеографического содержания. Затем – ну разве можно не расхотаться?

– Послушайте, – в тон ему отвечаю я, – это вы вчера стояли у нашего забора, вздыхали и мешали мне петь? И скажите

мне, необыкновенный директор обыкновенного музея, разве вы меня видели? Почему вы знаете, что пела именно я?

– Нет, – говорит он задумчиво, – я вас вижу сегодня в первый раз. У вас в доме по вечерам спущены занавески, как же я мог вас видеть? Но вот сейчас я смотрел на вас и решил, что это были вы. Кажется, это называется «шестое чувство». И ведь я не ошибся, правда? Хорошо... ночь тихая, теплая, море тоже тихое... Как это?..

*...Заливается целую ночь напролет...–*

вполголоса, чуть хриловато, но верно напевает он.

Нет, что это такое? Не только время смещается – реальность моего посещения музея перестает быть реальностью! Может быть, я нечаянно заснула в музее и мне все это снится?

– Слушайте, вы, уникальный директор, – обращаюсь я к нему, с трудом преодолев изумленное оцепенение, охватившее меня, – мы когда-нибудь обо всем этом еще поговорим. Я пение и вообще музыку люблю не меньше, чем вы. А сейчас ответьте мне: вы внимательно слушали то, что я говорила?

– Ну конечно, – несколько неуверенно отвечает он.

– В таком случае, товарищ директор, каков будет ваш ответ на мою просьбу?

Он вскидывает на меня испуганный взгляд, но, как видно, в моем лице улавливает что-то, что в нем самом мгновенно стирает чувство беспокойства, и опять забавно, конфузливо смеется.

– Сдаюсь, – заявляет он. – Конечно, я ничего не слышал. Но теперь я, честное слово, буду внимательным!

Я повторяю все, сказанное мной пять минут назад. Директор слушает. Наконец я спрашиваю, нет ли в архиве музея каких-либо интересных бумаг или писем.

Мой вопрос, кажется, и смутил и встревожил его.

– Бумаги? Письма? – заговорил он быстро, но все так же тихо. – Да нет, интересного ничего нет, один хлам...

– Дорогой товарищ Красин, я приехала отдыхать, зашла в музей и поинтересовалась, нет ли у вас чего-нибудь по моей части. Вот и все. Вы сказали «ничего интересного нет», а откуда вы знаете, что именно мне интересно?

Легкая улыбка пробегает по его губам, и он бросает быстрый взгляд в сторону высокого шкафа, стоящего у стены. Шкаф плотно закрыт на обе створки. Перед ним на полу вышатается огромная гора из остатков чучел, костей и рогов. Подойти к нему невозможно.

– Пожалуй, нет... – раздумчиво говорит он. И вдруг добавляет четко и категорически: – Нет, порадовать мне вас нечем...

Я смеюсь.

– А почему вы так, простите меня за слово, воровато посмотрели на этот шкаф? Дорогой товарищ Красин, я начинаю подозревать, что вы скрываете в нем все сокровища Колхиды или хотя бы несколько связок золотого руна. И я не отстану от вас, пока вы не откроете мне его тайн.

Красин хмурит брови, задумывается и наконец с трудом, точно выдавливая из себя слова, начинает говорить:

– Бумаги в нем, действительно, есть. Только... мне очень стыдно признаться... Вы будете возмущаться... сердиться...

Что за чудак? Сердиться. Точно нашаливший школьник, который боится строгой учительницы! Чем он так глубоко травмирован? И как подойти к нему?

– Нет, – отвечаю я серьезно. – Заранее обещаю, что возмущаться не буду. Но, судя по всему, предполагаю, что буду смеяться. Смеяться-то можно?

– Хорошо, если бы вы засмеялись, очень хорошо бы... Да нет!

Он глубоко вздыхает и залпом выпаливает:

– Почти все бумаги находятся в этом шкафу... ну... кроме тех, которые вы и так видите. Я свалил их туда уже давно, несколько лет назад. Там их мыши погрызли. Некоторые свертки

я пожег и... вообще израсходовал, потому что они уже никуда не годились... А остальные еще там, только не знаю, в каком виде. Ну?

И с этим полувопросительным-полувызывающим «ну» он поднимает на меня взгляд. Взгляд этот тоже вызывающий: что, мол, скажешь? Я ко всему готов!

Желание смеяться у меня мгновенно пропадает.

Я говорю с ним очень серьезно. Ни смеяться, ни сердиться у меня охоты нет. Да и права нет. Я предлагаю ему свою помощь: я буду приходить сюда ежедневно, мы совместно разберем все, посмотрим, что можно спасти и реставрировать, а дальше он должен обещать мне, что будет хранить все, спасенное нами, наравне с вещественными экспонатами музея. Я приду завтра же. И уже со смехом добавляю:

– Явлюсь, разумеется, со своей пыльной тряпкой, складным стулом и в самом грязном платье, какое только найду в доме. Сразу же из музея буду уходить купаться, чтобы смывать с себя пыль веков. Итак, договорились?

– Разумеется, – повеселевшим тоном подхватывает директор. – Я сегодня же начну приготовления.

– Какие приготовления?

– Как это «какие»? Ведь в шкаф нельзя пробраться из-за этого горного хребта, – указывает он на кучи хлама. – Надо его отгрести, потом я все приведу в порядок внутри, разберу бумагу по сортам...

– Та-та-та, – быстро перебиваю его я. – По каким это «сортам» вы собираетесь раскладывать бумаги? Уж не по степени ли ее потраченности мышами и директором музея? (Красин заметно вздрагивает). Дорогой товарищ, запомните раз и навсегда: ни один археолог не позволит производить раскопки кургана в свое отсутствие. Максимум того, что он может разрешить, это – снять верхний, наносный слой заве-

домо позднейшего происхождения. Поэтому и я разрешаю вам отгрести ваши плюшкинские хребты от шкафа и на этом вашу полезную деятельность закончить. Остальное – только под моим руководством. Иначе не стоит начинать, товарищ просто-Красин!

– Согласен, – вздыхает он. И добавляет каким-то извиняющимся тоном: – А зовут меня Владимир Иванович.

Попрощавшись с диковинным директором, я спешу к выходу: часы показывают, что я сильно опаздываю ко времени, определенному режимом нашего домика. Но, как видно, игра в посещение музея еще не кончена: в вестибюле ожидает меня старик-кассир, он же контролер и, по-видимому, сторож музея, с толстенной книгой посетителей. Я должна занести в нее свои впечатления, пожелания и, естественно, похвалы.

Мне очень хочется написать, что самый интересный экспонат музея, произведший на меня огромное впечатление, – это его директор. Но я ограничиваюсь несколькими строчками: отмечаю большую любовь, с которой подобрана экспозиция и очень хорошо размещен и сформулирован этикетаж, и прибавляю что-то о мудрых карликах и глупых великанах.

Игра закончена.

Дома я застаю на веранде целое общество. Мне неловко и неприятно: я совершенно забыла, что приглашена сегодня на торжественный именинный чай одною из тетушек нашей хозяйки. Кроме нашей обычной компании – семьи хозяев, соседки-дачницы, Александры Николаевны и меня – приглашен еще старик Беклемишев, брат известного скульптора, давний поклонник Александры Николаевны. Не знаю, почему это бронзовое мумифицированное существо с лицом кастрата с первого же знакомства вызывает во мне непреодолимое чувство антипатии, как будто ни на чем не основанной. Он всегда элегантно одет, любезен и предупредителен.

На меня так и сыплются вопросы, где это я пропадала и что могло так задержать меня.

Я кратко рассказываю о моем посещении музея и добавляю, что с завтрашнего дня буду ежедневно ходить в кабинет директора и там разбирать один маленький архив.

Александра Николаевна с отчаянием всплескивает руками.

– Она неисправима! – нарочито-жалобным тоном обращается она к присутствующим. – Даже Геленджик ей не помог! Она и здесь раскопала какой-то архив!

На меня тут же набрасываются все: вместо того, чтобы отдыхать, я опять зарылась в какие-то бумаги, просижу теперь весь отпуск в душном, пыльном помещении... Но я остаюсь глуха ко всем убеждениям: я должна разобрать курганы директора просто-Красина.

За столом поднимается высокая, сухая фигура Беклемишева. Загорелой худой рукой с длинными изящными пальцами он проводит по темным зачесанным назад волосам и, одернув небрежным движением прекрасно сшитый белоснежный летний костюм, становится в театральную позу. Если бы не широкоскулое, морщинистое лицо мумии неопределенного пола, ему никогда бы не дать его семидесяти с лишним лет.

– Уважаемое общество, – обращается он к сидящим за столом, – прошу вас запомнить сегодняшнюю дату: четвертое августа 1930 года, новый стиль. Это – дата, достойная занесения в геленджикские летописи, как завязка романа местного значения: наш уважаемый директор музея Владимир Иванович просто-Красин влюбляется в очаровательного (полупоклон в мою сторону) приезжего палеографа. Не обладая священным даром пророчества, я все же предвижу, что завтра он придет в музей в новых трусиках и даже, может быть, в майке. Последнее, впрочем, только предположение, но насчет трусиков ручаюсь. Желающих проверить прошу явиться в музей.

Он садится под общий хохот и аплодисменты. Как видно, у Красина какая-то прочная репутация, потому что публика тут же начинает весело комментировать спич Беклемишева.

А меня он злит. Может быть, эта характеристика и правильна, но мне после его шутки становится жалко моего бронзового чудака, я вспоминаю его настороженность при встрече, его растерянный вид и уверенный вопрос, не я ли пела накануне вечером, его добрый, тихий смех – и я бросаю в сторону Беклемишева несколько не очень любезных слов, так что Александра Николаевна с удивлением смотрит на меня.

Но старик ничего не замечает: он слишком упоен своим успехом. Он продолжает так же многословно и витиевато, с такими же неприкрыто издевательскими нотками рассказывать, как около двадцати лет назад от Красина ушла жена с приезжим бельгийским предпринимателем, намеревавшимся взять Геленджик на концессию. Так и сыплются изречения вроде «его жена не оценила непонятой души своего мужа и не выдержала нежности его поэтической натуры» и «с тех пор жилплощадь его сердца свободна».

Я не дослушиваю этой тирады и ухожу в комнату под предлогом подготовки к завтрашней работе.

Наутро я собираюсь в музей. Со мной тряпка, мыло, полотенце, взятая «напрокат» у нашей хозяйки синяя спецовка с длинными рукавами, блокнот и карандаш, маленький пакет с крахмалом, ножницы, ножик. На первый раз хватит.

В музее ожидают меня. Как только я вхожу в садик музея, вчерашний контроль (я уже знаю, что его зовут Никифор Прокофьевич) бросается мне навстречу и ведет к запасному выходу хранилища. Там на пороге ждет меня Красин. Я задерживаю на нем взгляд и невольно с досадой вспоминаю Беклемишева: директор гладко выбрит, на нем новые темно-синие трусики с красной каемкой и сильно выцветшая сиреневая футболка с ко-

ротенькими рукавами и черным воротником. Недостает только пионерского галстука.

Мы поднимаемся в архив. Мусорная гора отодвинулась от шкафа и выросла у противоположной стены.

– Свое обещание вы, надеюсь, выполнили? – обращаюсь я к нему. – Ничего в шкафу не трогали?

Он машет рукой.

– Даже не открывал!

Я застегиваю на себе спецовку и туго затягиваю голову простой серпяной косынкой.

– Начнем благословясь! За мною со вниманием! – торжественно цитирую я и быстро раскрываю дверки шкафа.

– Гм, да-а! – невольно вырывается у меня: от моих резких движений из шкафа идет густой бумажный снег. Мелкие кусочки изъеденных документов постепенно покрывают пол вокруг шкафа. Я боюсь даже взглянуть на Красина: я и так чувствую, до чего он убит и опозорен.

Внутри шкафа шесть деревянных полок. Три нижние заняты таким же хламом, как и вся комната, на трех верхних грудами свалены стопы разной бумаги, местами превращенной в кружева мышами, жучком и еще какими-то вредителями. Надо полагать, что все, оставшееся на полках после моего вторжения, немногим лучше того, что высыпалось на пол.

Шкаф слишком высок для меня. Мне даже не дотянуться до верхних полок. Я прошу принести мне какую-нибудь скамейку или лесенку. Красин приносит из соседнего помещения табурет, предупреждая, что у этой «подставки» только три ножки.

– Но вы не бойтесь, я буду поддерживать его вместо четвертой, – успокаивает он меня.

Он, действительно, впирается в мой пьедестал своими огромными ручищами, и я вскарабкиваюсь так, чтобы мне

было удобнее работать. Держась одной рукой за верхнюю полку, я другой рукой выгребаю бумаги и перекладываю их на одну из нижних полок, почти свободную от хлама.

Один угол верхнего этажа уже очищен. В самой глубине я замечаю голубоватую бумагу, которая раньше, вероятно, была свернута в трубочку, а теперь, сплюснутая и измятая, торчит в щели внутренней стенки шкафа. Я пытаюсь вытащить ее, но она плотно засела в разошедшемся дереве. Между тем, кружевные края рукописи, изъеденные мышами, показывают, что тащить ее надо с осторожностью. Я становлюсь на цыпочки, напрягаю мускулы, налегаю левой рукой на полку для опоры, а правой продолжаю орудовать над голубым свертком. Красин, заинтересованный моими усилиями, оставляет табуретку и, ухватившись обеими руками за верхнюю полку, силится заглянуть, что так привлекло мое внимание. Раздается треск: верхняя полка, изъеденная жучком, не выдерживает нашего напора и с грохотом обрушивается на меня со всем своим архивным содержимым. Табурет подо мной, покинутый Красиным, тоже трещит и разваливается – и я лечу на пол, осыпаемая сверху обломками досок и бумагой.

Красин, ошеломленный и испуганный, пытается задержать полку со стопками бумаг, но делает это так неловко, что она, развалившись на две половины, с треском падает на пол, заваливая меня новой грудой хлама и сбив по пути с директора очки. В его руках остается только какой-то клочок бумаги, который он в полной растерянности упорно протягивает мне.

– Вы... кажется... вниз упали? – бормочет он.

– Нет, на небо, – сердито отвечаю я, – а мой ангел-хранитель потерял очки и остался на земле, предоставив мне лететь без его помощи! И, очевидно, сует мне в руки пропуск!

Продолжая сидеть на полу – самом чистом месте в комнате, так как его подмели в ожидании меня, и потирая плечи и

поясницу, я начинаю хохотать. Красин стоит передо мной все такой же перепуганный и прилаживает на носу злосчастные очки.

– Боже ж ты мой, що туточки такие с вами? – просовывает голову в дверь музейный «контроль» Никифор Прокофьевич.

На наши пояснения он только головой покачивает: вот, мол, до чего доводит любовь к «старому паперу»!

Как бы то ни было, голубая трубочка у меня в руках, а все остальное – у моих ног. Вытаскивать больше ничего не надо: не было бы счастья, да несчастье помогло.

Я быстро разбираю лежащее на полу имущество: отдельные листы сохранились, при известной реставрации можно спасти и еще кое-что. По содержанию это какие-то счета, оплаченные и неоплаченные, деловая переписка винного склада в Джанхоте, купчие конца XVIII, начала и середины XIX века, тяжёбые дела из-за земельных участков, переписка по вопросам размежевания земель и другие материалы, несомненно, интересные для истории края. Но их так мало! А бóльшая часть бумаг погибла безнадежно. И я с грустью и досадой – какое «досадой»: с возмущением! – вижу среди рваных клочков, среди этого «бумажного снега» обрывочки документов, писанных витиеватой скорописью XVII–XVIII веков! И все это утрачено! Я обещаю отреставрировать то, что удастся. Красин исчезает за дверью: он не хочет мешать мне, но если он будет нужен, я могу позвать его, – он останется в соседней комнате.

Закончив отборку того, что еще можно прочесть и как-то сохранить, и отложив в сторону связку частных писем, которыми надо заняться отдельно, я перехожу к голубой трубочке, причине моего «падения».

И бумага, и особенно почерк типичны для николаевского времени, точнее – они могут быть отнесены к 30–50 годам про-

шлого столетия. Крупные николаевские характеры<sup>3</sup> читаются легко. Это – письмо, написанное на четырех страницах сложенного крупноформатного писчего листа. Я принимаюсь за чтение – и сразу забываю обо всем: передо мной письмо неизвестного пятигорского жителя, современника Лермонтова. Кто адресат? – неизвестно: рукопись имеет обращение «Дорогой друг». Кто отправитель? – подпись съедена мышами, конверта тоже нет. Но текст, текст! Страшно звучат строки:

*...«после грозы я проезжал по дороге, как раз там, где, помнишь, мы... (следует какое-то незначительное воспоминание)... и увидел на обочине мертвое тело, а рядом часового. Поравнявшись с ним, я взглянул в лицо лежащего: это был Лермонтов... Руки его были раскинуты, лицо и одежда – в грязи. Я хотел положить к телу цветы, которые вез... (следует краткое сообщение о том, кому и куда он вез цветы), но часовой остановил меня: «Проезжайте, господин, не дозволено!» Я попросил солдата хоть накрыть тело моим плащом, но он и в этом отказал мне. Тогда я вынул мой белый карманный платок и обратился к часовому: «Послушай, ты же русский человек, ты – русский солдат. Посмотри – это русский офицер, покойник. У него лицо все в грязи, возьми мой платок, вытри грязь, покрой его лицо!» На это он согласился, только попросил меня: «Отъезжайте, барин, поскорей, не дозволено же!» Я принужден был уехать. Но ты понимаешь, с каким чувством я удалялся от этого места! Сердце, мое русское сердце обливалось кровью: второго великого поэта мы теряем так ужасно! Подумай, мы ничему не научились со смерти Пушкина!.. Я долго опрашивал всех, въезжавших в город по этой дороге, и от всех получал один и тот же ответ: «Еще лежит». Одни*

---

<sup>3</sup> «Характеры» или даже «карактеры» (от французского caracteres) обозначали в то время «буквы», «почерк».

*говорили это с каким-то злорадством, другие равнодушно, третьи — точно стыдясь чего-то. Пойми меня, мне самому было мучительно стыдно»<sup>4</sup>.*

Рукопись местами обрывается: мыши и жучок были беспощадны. Местами требуется подклейка или скрепка, местами очень сильно выцвели чернила.

Я не выдерживаю:

– Владимир Иванович, идите сюда! – кричу я. – Идите скореей, находка!

Красин показывается в дверях.

– Смотрите же, смотрите, – с жаром бросаюсь я к нему, – первые часы после дуэли Лермонтова в письме очевидца! Невероятный вы человек, как вы могли отдать это на съедение мышам? Говорите мне скорее, где я могу сварить крахмального клею хоть немного и нет ли у вас какого-нибудь утюга? Ну директор, ну ледокол, ну милый Владимир Иванович, есть у вас утюг?

– Утюг? Крахмал? У меня нет крахмала, – точно оправдываясь, бормочет он.

– Да не надо же мне крахмала, я принесла с собой, мне только баночку чистую дайте, чтобы сварить! – я просто с ума схожу от нетерпения.

Постепенно все устраивается: я, наверное, окончательно разбудила вечно дремлющего Никифора, потому что он проявляет небывалую расторопность и заинтересованность. Найдена и железная консервная баночка для варки клея (старик усердно трет ее, чтобы она годилась для такого важного дела), и кирпичная плитка в садике, где он готовит себе незатейливое питание, – все предоставлено в мое распоряжение.

– А утюг? Мне необходим утюг! – набрасываюсь я на Красина.

---

<sup>4</sup> Подробно о тексте письма см. в конце рассказа.

Тот недоуменно разводит руками:

– Ну где мы достанем утюг?

– А как же – где? – возражает ему Никифор. – А чем же мы с вами ваши трусы да майку гладили? Я ще утюга не отнес, – наивно выдает он секреты своего шефа.

Тот делает ему «незаметные» знаки, но уже поздно: старик выложил все.

Я притворяюсь, что ничего не поняла, – да до того ли мне? О чем я могу думать, кроме драгоценного письма?!

Я делаю только первичную реставрацию. Для более тонкой работы у меня нет ни достаточных условий, ни материала. На отворот папки, в которую я кладу письмо, приклеиваю краткое описание рукописи.

Вручая папку директору Красину, я прошу хранить ее пуше глаза, так как сейчас она может вызвать еще больший интерес мышей – ведь она местами проклеена крахмалом! Я предупреждаю его, что как только возвращусь в Ленинград, немедленно же «натравлю» на музей работников Пушкинского Дома, который, я не сомневаюсь, отберет у него, Красина, этот ценнейший документ и приобщит к своим коллекциям. Но это еще не все: я должна сфотографировать письмо и снять с него копию.

Сфотографировать? Почему-то именно это обстоятельство особенно пугает Красина. Вероятно, он думает, что фанатизму этой неугомонной девчонки нет предела: выкопала письмо, начала клеить, разглаживать, описывать, а теперь еще фотографировать собирается!

– А что вас так пугает, Владимир Иванович? – спрашиваю я. – Ведь я же не собираюсь фотографировать свалку остальных бумаг и великолепный шкаф, в котором они хранились! (Красин снова тревожно настораживается!). И вас тоже не стану запечатлеть на снимке. Я сфотографирую только письмо постранично, сниму с него копию, отвезу в Ленинград и сдам все это тем

людям, которые уже официально обратятся к вам с просьбой о передаче письма в то место, где ему надлежит храниться. А вы по акту передадите его. Да еще окажетесь героем, ревностным хранителем ценных историко-литературных материалов!

– Да, уж действительно! – вырывается у него.

Меня, по правде, немало удивляет отношение Красина к моей находке: как-никак, он ведь директор музея, в его архиве найден такой документ, а я с его стороны вижу только тревогу, даже испуг – и полнейшее равнодушие к самому письму. Мне кажется, что если бы я могла заговорить за просто-Красина, получилось бы что-то в таком роде: «Письмо о Лермонтове? Вы находите его важным и интересным? Я очень рад... за вас. Делайте все, что хотите, вы в этом видите и понимаете что-то, ну вам и книги в руки! Вот только бы из этого чего-нибудь плохого не вышло! Понаедут тут всякие ваши ученые, начнут теребить, спрашивать... Ведь по вашим словам получается, что я совершил преступление!»

Да это так. Именно так надо понимать мои слова. Станный, очень странный человек! И в то же время я чувствую, что не могу судить его со всей строгостью палеографа – хранителя книжных и рукописных ценностей, с которой, безусловно, отнеслась бы ко всякому другому.

Но сейчас я не в силах, да и не хочу задумываться надо всем этим. Я так пропиталась найденным письмом, – да, именно пропиталась! – что каждое его слово врезается в мою память, как стека в мягкую глину или воск, создавая зримый, скульптурный образ...

Я безо всякой цели брожу по улочкам города, выхожу на пляж. Опять поднимаюсь к горам... Вот ОН лежит передо мной с раскинутыми руками, один, оставленный и врагами и друзьями. И только понурая фигура солдата маячит около НЕГО... Двадцатисемилетняя жизнь, в которой не было дней успоко-

енности и примирения... Я перебираю в памяти его стихи...  
Мира, озаренности ищу в них... Ах, разве вот это:

*Выхожу один я на дорогу...*

*Нет, тоже нет! Потому что –*

*В небесах торжественно и чудно!*

*Спит земля в сиянье голубом...*

*Что же мне так больно и так трудно?..*

Я выхожу к морю. К морю, сияющему голубыми переливами, в которых горят тысячи огоньков, посылаемых солнцем. И даже не знаешь, что в чем отражается: небо ли в море, море ли в небе: там – сверканье и легкие барашки облачков, и здесь то же сверканье и легкие барашки прибрежных волн...

И сразу в памяти возникает «Парус»:

*Под ним струя светлей лазури,*

*Над ним луч солнца золотой...*

Примирение? – Нет. Тут же – протест мятущейся души:

*А он, мятежный, просит бури,*

*Как будто в бурях есть покой...*

Нет, не тихое радостное море видел и воспел ОН в стихах!

*Приветствую тебя я, злое море,*

*Широкое, глубокое для дум...*

И дальше:

*Не изменилось ни в чем ты, злое море.*

И еще дальше:

*...припомнил север свой,  
Припомнил я другое злое море  
И край другой...*

И опять я вспоминаю ЕГО стихи. Неужели никогда эта юная душа не была спокойна, умиротворена и просветлена? Всегда – буря, всегда – вызов, всегда – глубокая горечь?

Мне на память приходят только три-четыре стихотворения, знакомые с детства, где ОН предстает передо мной, словно озаренный сиянием. Это – «Ветка Палестины», обе «Молитвы», «Когда волнуется желтеющая нива»... И все?!

Да, в эти минуты память не подсказывает мне ничего...

Настороженность... обманутое доверие, а за ним – постоянное недоверие... сарказм... Тяжелая, горькая жизнь, без участия, без поддержки...

«Отъезжайте, барин, не дозволено же!..»

Я углубляюсь в город по незнакомым мне улочкам. Вот – жалкие остатки старой геленджикской крепости. Здесь будто бы останавливался и ночевал Лермонтов по пути в глубь Кавказа к месту назначения. Легенда? – Может быть. Но... почему бы и нет? Ведь он несколько раз упоминает Геленджик в «Тамани». Могло так быть? Могло, мне хочется, чтобы могло...

Геленджик, радостный, солнечный, сияющий Геленджик – один из этапов смертного пути поэта...

*Им жизнь моя нужна – ну что же, пусть возьмут,  
Не мне жалеть о ней...–*

сказал он за несколько дней до смерти. Как он видел, как он чувствовал эту смерть, идущую ему навстречу!

*«Сердце, мое русское сердце обливалось кровью: второго великого поэта мы теряем так ужасно!»*

А ведь этот мартиролог, этот страшный список можно увеличить! Уже Герцен насчитывал девять трагических смертей русских писателей!

*«Подумай, мы ничему не научились со смерти Пушкина!»*

– Куда это вы, деточка, направились? – внезапно раздается за моей спиной голос одной из наших старушек-хозяек.

Я с удивлением оглядываюсь кругом. Вероятно, я бормочу что-то не очень понятное, потому что старушка только головой покачивает.

– А обедать-то вы придете? – спрашивает она меня.

Я спохватываюсь: обед – обедом, а ведь мне нужно найти фотографа! Да, жизнь есть жизнь – и она такова, как она есть.

Снова спускаюсь на главную улицу города, которая местами идет почти вдоль самого берега бухты. Фотограф... Фотографов много, чрезмерно много в Геленджике. Главная улица городка на центральном ее отрезке почти сплошь застроена домиками-кабинками, где идет торговля пляжной обувью, изделиями из морских раковин и другими мелочами. Но большую часть этих фанерных балаганчиков занимают примитивные, базарного типа фотографические мастерские, пышно именующиеся «Фотоателье».

Я продолжаю идти, не зная, на котором из них остановиться. Все они одинаковы, везде одни и те же вывески и застекленная рама с фотографиями – произведениями владельца мастерской. Нужно выбирать, другого ничего ведь не найдешь.

Я уже хочу войти в ближайшую дверь – не все ли равно? – как вдруг мое внимание привлекает надпись на дверке одного из балаганчиков на противоположной стороне улицы. Нижняя часть дверки глухая, фанерная, в верхнюю вставлено стекло. На нем белилами значится:

ФОТО-АТЕЛЬЕ.

АНАСТАС ГУНАРОПУЛО

Летописец в портретах.

Вот уж, действительно, в буквальном смысле слова – от великого до смешного – один шаг! Лермонтов – и этот балаган!

Но, как видно, жизнь, молодость и врожденное чувство юмора берут верх: эта надпись решает все. Я захожу к Анастасу Гунаропуло. Как только я открываю дверь, где-то в глубине звенит колокольчик. Из-за темной портьеры появляется небольшая коренастая фигура «летописца». Анастас Гунаропуло наскоро проглатывает что-то, заполнявшее его рот, и раздражается словесным каскадом, не давая мне опомниться.

– Мадам, прашу! Замечательный снимок будет! Паразитный! Какой пейзаж желаешь! Бурный море, спокойный море, гора с ущельем, хочешь на аэроплане, на коне, в лодка? Какой костюм желаешь? Купальный, черкесский, папаха, грузинский дама, физкультурный? Прашу, мадам, выбирай!

Летописец мечется по ателье, указывая мне всевозможные пейзажи и костюмы, висящие по стенам. Один из пейзажей особенно привлекает мое внимание: по мрачной гористой местности, распластавшись, летит конь, настоящий сивка-бурка, вещая каурка, пламя из ноздрей. На нем всадник-горец с обнаженной кривой шашкой, с парой кинжалов за поясом, с развевающимися полами черкески. На голове всадника пышная папаха огромных размеров. Вместо лица – дырка. Клиенту нужно только зайти за декорацию и просунуть голову в это отверстие. На одну секунду у меня мелькает озорная мысль сфотографироваться и послать карточку на потеху добрым друзьям в Ленинград. Но брезгливость берет верх: просовывать лицо сквозь отверстие в грязной парусине – нет, пусть потомство остается без этой страницы «летописи»!

Дав Анастасу Гунаропуло высказать все его предложения, я перехожу к делу: излагаю ему цель моего визита. Спрашиваю, сможет ли он выполнить то, что мне нужно. Летописец презрительно пожимает плечами:

– Фатаграфия Лэрмантов? Пажалста! Можем, канечно, можем! Маленький Лермонтов, балшой – все можем!

Я предлагаю принести папку с рукописью к нему в ателье, чтобы он при мне сфотографировал все нужное. Он отрицательно мотает головой: зачем? Он придет в музей сам, сделает снимки на месте.

– Выездной сеанс тоже можем!

«Выездной сеанс» – это звучит гордо. До музея от Гунаропуло надо пройти домов пять-шесть и перейти улицу. Это только предлог запросить за фотографию дороже.

Наконец, мне кажется, мы договорились обо всем и условились встретиться в музее через три дня.

В течение этого времени я по-прежнему с утра прихожу в музей и понемногу привожу в порядок уцелевшую часть архива. Пачка писем, отложенная мной в сторону при первой разборке бумаг, обманула мои ожидания: это переписка двух местных дам самого конца минувшего века. Письма бытового содержания, намеки на чьи-то романы, чьи-то сцены ревности... А я после моего драгоценного письма все время жду какой-нибудь необыкновенной находки. Но кто знает, может быть, изучая край и его историю, пытливым ученым найдет в этой пачке ценные сведения для своей работы? И я добросовестно подклеиваю отдельные попорченные листочки и присовокупляю пачку ко все-му уже просмотренному и отреставрированному мной.

Каждый раз, приходя на антресоли музея, я не могу удержаться, чтобы не взять в руки папку с письмом неизвестного и не взглянуть на его трагические строки. Это стало похоже на встречи, которые боишься пропустить. И я ловлю себя на мысли,

что Геленджик сблизил, сроднил меня с Лермонтовым. До моей поездки сюда его поэзия казалась мне сильной, прекрасной, но далекой, даже чуждой мне, а сам поэт оставался непонятным в его непримиренности ни с чем, в его отчуждении от всего и от всех. Сейчас, после найденного мной письма, Лермонтов стал моим, я по-новому услышала, увидела и перечувствовала каждую горькую, бесконечно печальную строку его стихов.

А ведь в жизни так бывает. Встречаешься с человеком, разговариваешь с ним и как будто хорошо знаешь его. И вдруг словно какой-то внезапный луч, прорвав облака, падает на него – будь то разговор о нем, или высказанная им самим мысль, чем-то задевшая твое воображение, или несколько строк его письма, казалось бы, и незначительных, – и он предстает перед тобой в новом облике, которого раньше ты в нем и не подозревал. И думаешь: или мои глаза стали другими? Почему же я раньше этого не замечала?

Поездка... письмо... Теперь навсегда имя поэта будет в моей памяти связано с этим белым городом и с людьми, окружающими меня здесь.

Геленджик, солнечный, ясный Геленджик, спасибо тебе за твой прекрасный подарок – спасибо тебе за Лермонтова!

В моих молодых, горячих, сбивчивых рассуждениях я прихожу до парадоксов: я, кажется, готова простить Красину тот хаос, который я застала у него в архиве. Не будь этого безобразия, я не стала бы лазать по шкафам и полкам, разбирать полуистлевшие бумажки и не обнаружила бы строк, неожиданно осмысливших и обогативших мою поездку и мой «отдых». И погиб бы крик неизвестной души, полный возмущения и горечи:

*«...Сердце, мое русское сердце обливалось кровью: второго великого поэта мы теряем так ужасно!...»*

И концовка:

*«Пойми меня, мне самому было мучительно стыдно...»*

А Красина мне просто жалко: все это, по-видимому, чуждо ему, а может быть, заслонено чем-то, чего я не знаю и не понимаю, – и он лишен этих страшных, но и радостных волнений и переживаний, которые владеют мной.

За эти дни директор «приручается» все больше и больше. Он уже не прячется в соседнюю каморку при моем появлении. Когда я занята технической частью работы, он выползает из своего чуланчика, устраивается где-нибудь среди скелетов и тучел, и у нас начинается разговор.

Окончательно убедившись, что он только из любезности и, пожалуй, по своей должности, которая обязывает его интересоваться моей работой и – что еще печальнее – находкой, изредка поддакивает мне, я перевожу наши беседы на темы, более близкие ему. Задаю вопросы о музее, о Геленджике и его окрестностях. Он точно расцветает и весь преображается. Говорит с улыбкой, в его рассказах так и проскальзывает мягкий юмор, я не узнаю своего дикаря в трусиках! И все больше убеждаюсь, что передо мной – богатой эрудиции, тонкий, наблюдательный природовед.

Он удивляется, что я до сих пор не записалась в экскурсионном бюро при музее: в ближайшее время состоятся экскурсии на Михайловский перевал, Джанхот и Фальшивый Геленджик. Экскурсоводов сейчас в городе двое: он сам и Беклемишев. Ездят они с экскурсиями попеременно.

Разумеется, я тут же записываюсь на все экскурсии. Действительно, стыдно приехать в Геленджик и не побывать в его окрестностях! На мой вопрос, кто из экскурсоводов поедет в ближайший раз, он отвечает коротко:

– Анатолий Александрович, – это Беклемишев.

– А вы?

– Да я стараюсь оставаться дома, – отвечает он. – Тем более, что Анатолий Александрович большой любитель этих поездок,

особенно в интересном дамском обществе, – добавляет он с усмешкой. – Ну, ему и книги в руки: галантен, остроумен... А я, знаете, человек семейный, домосед... У меня и дома дела много.

Странно: семейный человек? А как же рассказ Беклемишева о бежавшей жене?

– У вас большая семья? – спрашиваю я его.

– Н-нет, – как-то с запинкой выговаривает он. – Одна только мамаша... Но она больная старушка. Беспомощна, как ребенок. И, как ребенок, требовательна. А кроме того, она у меня большая любительница домашних животных (неожиданный вздох). Ну, а животные требуют ухода. Мне дела хватает. Я только и знаю дорогу – на службу и обратно. Нигде не бываю, никого не вижу.

– Вы в какой части города живете?

– В центре подковы. В греческой.

– Ну, Владимир Иванович, позвольте вас поймать на слове, – смеюсь я. – Если вы живете в греческой части города, ходите оттуда только в музей и больше нигде не бываете, объясните мне, каким же образом вы поздно вечером оказались в стороне Толстого Мыса на Трибунальной и слушали наши музыкально-вокальные упражнения? Да вы еще произнесли знаменательную фразу: «У вас, – мол, – по в е ч е р а м занавески спущены», – значит, вы неоднократно посещали наши места? Как же вы все это объясните?

– Вот что значит разговаривать с филологом, – слегка усмехнувшись и покачав головой, заявляет он. – Но мое объяснение будет совсем простым: мимо вашего дома я проходил два вечера подряд. Мамаша просила меня услужить нашей соседке, которая всегда к нам очень внимательна. У этой соседки козочка... ну... знаете... – Красин мнется, не находя подходящих выражений, – эту козочку... этой козочке... одним словом, я водил ее на свадьбу к козлу, а на следующий вечер...

– Со свадьбы? – хохочу я. – Очаровательный мой директор, вы верны себе! Значит, вы подпирали наш забор вместе с козой, которую тащили на веревке? Она у вас тоже любит пеньё? «...Заливается целую ночь напролет...» – напеваю я. – То-то я два вечера подряд слышала за окном странные звуки! Это ваша коза мне подпевала!

– Нет, – серьезно возражает он, – первый раз я остановился без козы, у меня была только веревка.

Я задыхаюсь от смеха.

– Владимир Иванович, вы просто великолепны, неужели вы не понимаете этого сами? Очаровательный ледокол, вы не сёрдитесь на меня за смех? Отнесите его за счет моей глупости и простите!

Красин искренне удивлен.

– Как вы могли подумать, что я сержусь на вас? Смейтесь, пожалуйста! Мне самому весело стало! А знаете, я сперва вас боялся, – внезапно заявляет он.

– Меня боялись? Крайне польщена! Только что значит «сперва»? Теперь вы больше не боитесь?

Я сердито хмурю брови и делаю «страшное» лицо.

– Ни-ни, не пугайте: не страшно, – смеется он. – Ничуть не страшно. И я даже рад, что мыши... И что вы упали...

– Вот спасибо! – не выдерживаю я сердитого вида. – У меня до сих пор плечи и спина ноют, у меня, может быть, позвоночник переломлен, а он, видите ли, «даже рад»! Что сказал бы галантный Беклемишев, услышав ваши слова?

У моего «пионера без галстука» взгляд внезапно становится темным и острым, губы кривятся и сжимаются.

– Ну...– неожиданно резко говорит он, – это мне совершенно безразлично. Вот если *вы* на меня в претензии, это другое дело. А он...

– Вы не любите Беклемишева?

– А за что мне его любить или не любить? Он мне глубоко безразличен с его хорошим тоном и салонным остроумием. *Vacua vas plurimum sonant!*<sup>5</sup>, – неожиданно заключает он.

Я с удивлением смотрю на него.

– Что вы так удивляетесь? – продолжает он. – Я когда-то окончил классическую гимназию, по-латыни и по-гречески кумеаю. А вы, наверное, думали – вовсе дикарь?

– Ничего подобного, – протестую я. – Никогда этого не думала. Но скажу вам откровенно, что вы полны неожиданностей, как коробочка с секретом. Никогда не знаешь, что вы скажете через минуту.

– Эх, – с жаром возвращается он к прерванной мысли, – всего проще подмечать за другими их слабости, недостатки, а может быть, и несчастья – и превращать их в блестящие остроумия! Тот, мол, смешон, тот – чудак, у того жена сбежала, – ах, как смешно! А вот если кто-нибудь над тобою самим посмеется, что ты скажешь, салонный болтун?

Красин выдохся. Он умолкает и только тяжело дышит. Да, сильно же досадил ему своими насмешками Беклемишев, если это кроткое, робкое существо могло оказаться таким жестоким в своем рассказе! Он поднимает на меня глаза. Они опять осветлели и приняли свое обычное мягкое выражение.

– Вы осуждаете меня? Я очень скверно сказал? – спрашивает он. – Ну, конечно же, скверно, я сам знаю... Так, вырвется иногда... Терпишь, терпишь... Он, видите ли, человек, а ты – неизвестно что. И болтает, болтает кругом... Наверное, он и вам уже с три короба обо мне наговорил?

Красин испытующе смотрит на меня.

– Ничего подобного, Владимир Иванович, никакого разговора о вас не было. Вы слишком подозрительны, уверяю вас!

---

<sup>5</sup> Пустые сосуды сильнее гремят – латинская поговорка.

Это нехорошо, бросьте. А Беклемишев... Жалкий человек... Что вам до него?

Я перевожу разговор на другие, мирные темы.

– Скажите, – вдруг перебивает меня он, – вы осматривали мой музей?

– Директор спохватился! Конечно, осматривала. О рукописях я спросила уже после осмотра. Знаете, кого вы мне напомнили, сказав «мой музей»? Николая Первого. Он петербургский климат называл «мой климат».

– Сравнение не столь лестное, сколь значительное, – улыбается Красин. – А что вы мне скажете о музее? Он вам понравился?

Господи, опять «впечатления»! Я говорю что-то неопределенное, но директор с пронизывающим вниманием смотрит на меня. И я постепенно «увядаю».

– Вы очень торопитесь? – спрашивает он. – Я хотел бы сам показать его вам.

Остаться необходимо. Я чувствую, что мой отказ не только огорчил бы, но и глубоко обидел его.

С антресолей мы спускаемся в основное помещение и начинаем обход.

С первых же шагов я понимаю, что мое сравнение с Николаем Первым не выдерживает критики: музей действительно «его», вот этого Владимира Ивановича просто-Красина. Он знает не только каждую вещицу, каждую мелочь, но и помнит, где, когда, при каких обстоятельствах она приобретена или найдена, и наполняет свой рассказ живыми, дышащими юмором подробностями. Говорит он тихо, но уверенно и воодушевленно. Это – настоящий создатель и хозяин геленджикского хранилища.

И от его рассказа все эти мертвые предметы точно сбрасывают с себя холодное равнодушие музейных экспонатов, оживают и всем своим видом дополняют и продолжают рассказ директора. Я вижу цветущую, мягкую культуру горцев, из века

в век отступающую и прячущуюся перед волнами завоевателей, я слышу бряцание кинжалов и шашек, лежащих передо мной, и тут же узнаю, как вот этот блестящий, тонкой выделки клинок был найден на пасеке близ Михайловского перевала; я слушаю рассказы о том, как молодой учитель Владимир Иванович Красин еще в самом начале нашего века собирал мальчишек-энтузиастов, уходил с ними по намеченному маршруту на целые недели, и они возвращались нагруженные богатой добычей – каменными топорами и ножами, черепками посуды, бусами и конским снаряжением. Каждый предмет имеет свою историю в памяти седого директора, и когда он берет что-нибудь в руки, взгляд его становится теплым и светлым.

В комнате, где представлена фауна, Красин расцветает окончательно: все эти дельфины, проткнутые длинными палками, как копченые сиги, все эти горные козлы, шакалы, орлы и ястребы, выстроившиеся в застекленных шкафах, змеи и черви в банках со спиртом; застывшие на булавках жучки и бабочки – все они близкие приятели моего замечательного гида. Рассказывая о них, он открывает шкафы, вынимает чучела, поглаживает рукою шкурки, расправляет перышки; голыми руками лезет в банки со спиртом и со словами – «опять без меня кто-то лазил» – перекладывает какую-нибудь отвратительную медянку или гремучку, «чтобы ей удобнее было».

Мы стоим перед стеклянной витриной, за которой расставлены чучела крупных птиц. Красин оттягивает плотную дверку и берет за длинный нос большую красивую цаплю.

– Вот еще моя добрая знакомая, – говорит он. – Только с нею у меня вышло маленькое недоразумение... Опять, конечно, нелестная для меня история...

Он косится на меня. Несмотря на его смущение и нерешительность, я чувствую, что ему хочется рассказать мне об этой цапле. Разумеется, я начинаю упрашивать его.

– Да, собственно говоря, ничего особенного, – быстро подхватывает он. – Опять же мальчишки принесли. Камнем ногу подбили и принесли. Ну, я конечно, мальчишек побранил, зачем живое существо калечат, и решил, видите ли, ее подлечить. Устроил ей во дворике гнездо, принес всякого корма. Ножку в лубки взял, вернее – в щепочки, и туго забинтовал. А она никак в гнездо садиться не хочет: стоит столбом, видите ли, больную ногу подобрала, а на здоровой держится. И не шелохнется, точно неживая. Ну, я своим делом занялся, про нее забыл совсем. Вечером хочу уходить домой, все убрал, запер, выхожу во дворик и думаю: что же это я чучело во дворе оставил? Я и забыл совсем, видите ли, что это живая цапля! Взял ее, принес в комнату и запер в шкаф. После этого я дня два очень занят был, как-то не приходилось в эту комнату заглядывать. А потом ребята-экскурсанты прибегают ко мне: «Дяденька, у вас в шкафу чучело повалилось!» Я прихожу и вижу: лежит моя цапля и крылья распластала. Задохлась, что ли?.. Тут я только и вспомнил, видите ли, что я живую птицу в шкаф запер. Расеянность...

– Владимир Иванович, вы не обижайтесь, только я вам не верю: не может этого быть! Ну, невероятно это, поймите вы!

Красин пожимает плечами.

– Спросите Никифора Прокофьевича, если не верите! Мне потом с этой цаплей покою не давали: даже в стенгазету попал – карикатуру нарисовали и подписали:

*Ах, как ужасен  
Директор музея Красин.  
Такую большую скотину  
Запер живую в витрину!*

Я не сердился, видите ли, потому что правда. Что вы так смотрите? Все еще не верите?

– Нет, – отвечаю я, – я смотрю, нет ли здесь в шкафу свободного места. Я бы рядом с цаплей вас самого поставила, товарищ директор!

Но время позднее, пора отправляться домой. Я ничуть не жалею, что задержалась в музее. Разумеется, нелепая история с цаплей искренно возмутила меня. Но зато все остальное! Весь этот внезапно раскрывшийся и оживший передо мною край!

Я горячо благодарю его за рассказы и поворачиваюсь к калитке. Но тут из глубины садика доносится какой-то странный писк. Щенка, что ли, который вывалился из корзинки или просится в комнату? Я удивленно поворачиваюсь.

– Что там такое?

Лицо Красина расплывается в улыбке.

– Это – мой питомец, – заявляет он. – Мальчишки принесли мне на днях шакаленка из логова. Я его тут в клетке во дворе приспособил. Он и пищит.

Мы подходим к небольшой клетке, какие делают для кроликов. На охапке сена лежит маленькое существо, похожее на лисенка. Вид у «питомца» жалкий: он весь облез, косточки торчат под тоненькой дряблой кожей, мордочка напуганная, глаза острые, недоверчиво-внимательные. Перед шакаленком два небольших блюдечка: на одном какие-то лесные ягоды, в другом – остатки мутной воды.

– Чем вы его кормите? – ужасаюсь я. – Он у вас сдохнет либо сегодня к вечеру, либо завтра утром. Бедный малыш!

Красин начинает уверять меня, что шакалы очень любят ягоды, но вся беда в том, что его питомец чем-то болен, скушает и ничего не хочет есть вообще.

– Дайте ему молока, – совсем рассердившись, чуть не кричу я, – и посмотрите, захочет он есть или нет!

– Молока? Да, молока хорошо бы... Я уже хотел принести немного из дому, от мамашиних кошек взять да вот мамаша не

позволяет. А для кошек мы молоко покупаем... Мамаша очень любит их. Нельзя же ее, и так несчастную, лишать единственной радости...

Я и ошеломлена и обозлена. Кто он наконец! То ли какой-то «блаженный», попавший под башмак выжившей из ума старухи, то ли настоящее его содержание спрятано под наигрышем юродивого так глубоко, что, как говорится, «посторонним вход воспрещен»? Я задаю ему вопросы. Мамаша «держит его строго». Оно, мол, и лучше. Она и в пище и в одежде приучила его к спартанскому образу жизни – и вот он закалился, окреп. Раньше много болел, а теперь все нипочем.

Он пробовал организовать питание шакаленка через мальчишек, – возвращается директор к рассказу о зверьке. Обещал мелюзге пускать их в музей бесплатно, если они будут приносить пропитание. Два-три дня носили, а потом интерес к музею исчерпался.

Я даю слово Красину, приходя в музей, каждый раз приносить чего-нибудь для его младенца, хотя сомневаюсь, чтобы тот выжил.

Директор сияет, он обрадован как ребенок, и глядя остренькую рыжую мордочку шакаленка, начинает говорить ему что-то ласковое и очень соблазнительное о завтрашнем угощении. Зверек испуганно косится на него и дрожит мелкой дрожью.

Дома я застаю Александру Николаевну на ступеньках террасы с двумя ребятишками из флигеля и Фебом. Все вместе они рассматривают большую мохнатую гусеницу. Я подсаживаюсь к ним и сразу же выкладываю Александре Николаевне все события и впечатления дня. Трехлетний малыш Валя поглощен возней с гусеницей, зато шестилетняя Нина, или Ни-нуль, как ее обычно называют, и Феб ловят каждое мое слово. Александра Николаевна смеется своим замечательным тихим смехом, от которого еще больше хорошеет ее выразительное

лицо, но потом, покачив головой, принимается ласково отчитывать меня: я так поправились в Геленджике, а теперь она боится, что в грязных музейных шкафах я все растрочу. А она, мол, не для этого меня привезла.

У быстрой, худенькой Нинуль горят глазенки.

– Тетя Ака, – обращается она ко мне, едва дождавшись конца нравоучительной фразы, – а я пойду с тобой завтра в твой музей?

Большие черные глазенки умоляюще смотрят на меня.

– Шакальчика посмотреть и цаплю. Я шакальчику молока понесу. Я пойду? Ну тетя Ака!

Такой неожиданный партнер меня не устраивает. Я пытаюсь отговорить ее. Но тут бурно вмешивается Феб:

– Тетя Ака, возьмите и меня тоже! Я вам все вещи понесу и Нинку оттуда домой приведу, а вы останетесь там работать! Возьмите нас обоих! А про цаплю он не врет, это все правда, честное пионерское! Я тогда там не был, но наша братва мне все рассказала! Он уж такой и есть! И тут же заканчивает: – Честное пионерское, возьмите нас!

Теперь оба смотрят на меня умоляюще. Александра Николаевна насмешничает:

– Рассказала на свою голову! Забирай теперь с собой всю команду!

Феб кажется мне не совсем надежной няней. На свою ответственность я этого не возьму и благоразумно посылаю Нинуль за разрешением к матери. Феб устремляется за нею. Через несколько минут добродушная толстушка с такими же, как у Нинуль, черными глазами появляется на дорожке у террасы.

– К какому шакалу вы хотите утащить мою малолетнюю дочь? – спрашивает она меня. – Я ничего не поняла,

Я даю объяснения, и, к моему огорчению, она соглашается.

На другое утро моя «команда» собирается с самого утра и глазами, полными тоски, глядит на мои неторопливые сборы. Они готовы мчаться в музей и без меня – лишь бы поскорей.

Около десяти часов мы отправляемся. Я прихожу в ужас: мои ревностные спутники наготовили столько угощения, что хватит на целое семейство взрослых шакалов и не на один день.

Феб подхватывает оба багажа: и шакалье продовольствие и мои пожитки. Мы выходим на улицу.

Директор принимает нас очень радушно. Прежде всего, разумеется, мы идем к шакаленку.

– Жив еще? В шкаф не заперли? – спрашиваю я.

Через несколько минут мы производим полный переворот в личной жизни маленького пленника: сам шакаленок на большой тряпке водворен ко мне на колени, Феб и Нинуль вдохновенно чистят и моют его клетку, до блеска перетирают блюдца, устилают ему «постельку» из свежего сена и готовы уже мыть и тереть его самого. Рыженький зверек, обтертый мною, устроен на сене, и Нинуль торжественно ставит перед его мордочкой блюдце с молоком. Зверек весь дрожит, тянется к молоку, но от слабости не может стать на лапки и только, шатаясь, подползает к тарелке. Он с жадностью глотает теплое молоко и пугливо косится на нас. Феб и Нинуль замирают на коленях перед клеткой. Я беру кусочек сухой белой булки, обмакиваю в молоко и подаю нашему четвероногому питомцу. Он хватает поданный ему кусок, перекатывает его во рту с одной стороны на другую, силясь разжевать. Мордочка у него блаженная. Одолев первый кусок, он уже с доверчивой жадностью смотрит мне в руки. Ребята готовы скормить ему весь принесенный ими запас; но я устанавливаю нормы, и мы передаем все оставшееся в руки директора.

Закончив свои хлопоты, ребята отправляются с директором смотреть музей и цаплю. Я поднимаюсь на антресоли: у меня еще осталось немного работы по разборке отдельных бумажек архива. Снизу до меня доносятся веселые голоса моих спутников и приглушенный голос директора.

– Тетя Ака, мы уходим! – раздается снизу через некоторое время. Я застаю всех троих – директора и ребят – оживленно беседующими у ворот. Дружба завязалась. На прощанье Феб протягивает Красину свою черную от загара и грязи руку, – мужчины обмениваются рукопожатием.

Закончив намеченную на сегодня работу, я тоже возвращаюсь домой. У нас – неизменный Беклемишев, «рыцарь» и поклонник Александры Николаевны. Едва я успеваю ступить на веранду, общий громкий хохот несется мне навстречу. Дружному хору вторит даже моя милая, сдержанная Александра Николаевна.

– Ну-ну, иди-ка сюда, – сквозь смех обращается она ко мне, — рассказывай все как есть!

– Да-да, соседushка, – вторит ей Нина Филипповна, мать Нинули, — не ожидала я этого от вас!

– Неужели же прелестный палеограф предполагает, что ребенок может скрыть что-нибудь? Невинное дитя все рассказало! – вмешивается и Беклемишев.

– Устами младенцев бог глаголет! – заключает наш хозяин. – Да вы не смущайтесь, дорогая, мы все знаем вашу отзывчивую душу! То ли еще бывает!

Я ничего не понимаю. Стоя на ступеньках веранды, я недоуменно поворачиваю лицо то к одному, то к другому и своим растерянным видом только усиливаю общее веселье. Наконец одна из старушек, Наталья Платоновна, обращается ко мне с вопросом:

– Ну расскажите же нам толком, как вы Красина булочкой кормили?

– Какого Красина? – чуть не вскрикиваю я. – Я шакала кормила, а не Красина!

Буря протестов поднимается на веранде. Меня уговаривают ничего не скрывать, так как Никуль все равно уже все рассказала.

Оказывается, когда девочка вернулась из музея, а все общество сидело на веранде, она, захлебываясь от восторга, стала делиться своими впечатлениями.

– Мы к шакальчику ходили с тетей Акой и с Фебом, – скороговоркой начала она, – он...

– Подожди, Никуль, – прервала ее Александра Николаевна, — а где сейчас тетя Ака?

– Она там осталась, в музее, с директором, – отмахнулась девочка от неинтересного вопроса, – он стоит перед ней на коленочках, бедненький, грязненький, а она его булочкой с молочком кормит, а он дрожит весь, бедненький, и ручку ей облизал...

Дальше девочка говорить не могла: на веранде поднялся невероятный хохот.

– Кто? Кто это «грязненький, голодненький»? – сквозь смех стали спрашивать ее.

Вмешался Беклемишев:

– Ну как «кто»? По-моему, вопрос совершенно излишний: разумеется, директор музея! Описание в высшей степени точное и образное. У вас талантливый ребенок, милая Нина Филипповна, – кланяется он в сторону хохочущей толстухки. – «Дрожит весь, бедненький, стоит на коленочках и ручку облизал»! Бесподобно!

Оживление и веселье царили до самого моего возвращения. Мой приход вызвал новый взрыв хохота.

На другое утро я поднимаюсь спозаранку: нужно покончить со всеми хозяйственными хлопотами и прочими делами до девяти утра: в десять часов в музей явится «летописец в портретах».

Я не ставила Феба в известность об этом событии. Но едва я переступаю калитку музейного дворика, маленькая загорелая фигурка как из-под земли вырастает передо мной.

– Тетя Ака, сейчас фотография будет?

За Фебом появляется Никифор с приглашением пройти «до директора» и наконец сам Красин. Мы решаем дождаться фотографа в садике, и Феб начинает метаться из конца в конец: с одной стороны, ему хочется похвастать передо мной своими «шакальби-ми» достижениями – чистой клеткой, вымытой посудой, самим шакаленком, который при нашем приближении вскакивает с места, перебирает лапками и нетерпеливо повизгивает; – с другой – нельзя же пропустить такой исторический момент, как появление на горизонте летописца Анастаса Гунаропуло! Ему удастся и то и другое. Крепкая же дружба завязалась между моим чичисбеем<sup>6</sup> и директором музея! Феб знает все лучше меня!

Через минуту он галопом мчится к нам от калитки и, задыхаясь от волнения, объявляет:

– Идет!

Во дворик входит «летописец». Но, боже, в каком он виде! Его костюм неопределимой национальности невольно заставляет меня вспомнить о бессмертном тарасконце перед отъездом на охоту за львами. Разница только в том, что на Тартаре не были навешаны карабины, кинжалы и сабли, а на Анастасе красуются какие-то таинственные ящички, флаконы, кисточки и... большой полевой бинокль на ремне. За его фигурой обтекаемой формы выступает второй Анастас в миниатюре, оче-

---

<sup>6</sup> Ч и ч и с б е и й (*итальянск.*) – постоянный спутник дамы, сопровождающий ее на прогулках, увеселениях и т. п.

видно, отпрыск «летописца», лет двенадцати – четырнадцати. Тот тащит штатив и не то ящик, не то камеру. Вид у обоих торжественный и полный собственного достоинства. Моя «гвардия» – Феб, Красин и Никифор Прокофьевич выстраиваются позади меня.

Анастас Гунаропуло здоровается со мной и с видом человека, которому дорога каждая минута, сразу же приступает к делу.

– Гдэ Лэрмантов? Каторы Лэрмантов? – спрашивает он, подозрительно косясь в сторону моих трех мушкетеров.

Мы входим в здание музея, Красин, как чудотворную икону, выносит с антресолей папку с рукописью. Летописец на секунду замирает в недоумении: что же, собственно, здесь фотографировать? Но потом он соображает: ведь клиенты – такой взбалмошный народ! А деньги он все равно получит, хотя бы пришлось фотографировать городскую свалку. Оно, пожалуй, даже интересней: можно покуражиться, разыграть тонкого специалиста перед благоговейно разинутым ртом Феба и почтительной фигурой Никифора.

Я предлагаю «летописцу» сделать снимок во двореке, если ему мало освещение.

– Нэ надо! – лаконично отвечает он.

Потом начинается шаманство. Летописец вооружается биноклем, смотрит в него на рукопись и говорит как будто самому себе:

– Да-а-а... Это нэ чэловэка фатаграфировать!

Далее он внимательно сквозь тот же бинокль осматривает всю комнату, причем взгляды Никифора и Феба, как загипнотизированные, следуют за ним. Никифор вдруг усматривает какую-то паутину над одним из шкафов, опрометью бросается из комнаты и, вернувшись с длинной палкой, увенчанной тряпкой, поспешно снимает тенета. Анастас, видимо, удовлетворен: так и надо, эффект достигнут!

Красин молча, со скрещенными по-наполеоновски руками, стоит в стороне. Кажется, он и не смотрит на актера, но добродушная усмешка скользит по его лицу. «Отпрыск» совершенно равнодушен к манипуляциям отца: его гораздо больше интересуют банки со змеями.

Анастас ходит по комнате, зачем-то приседает, щурит глаза, мычит что-то. Наконец место выбрано, рукопись положена на низенький мольберт, аппарат наведен. Стоп!

– Цветы! – приказывает он Никифору.

Тот хлопает глазами.

– Цветы? Яки цветы?

Художественная натура летописца требует цветов. Он желает увековечить рукопись в венке из роз или по крайней мере – с большим букетом около мольберта. Мне с трудом удастся убедить его, что это совершенно излишне. Анастас на минуту задумывается. Он недоволен: его репутация в Ленинграде будет подорвана моими «капризами». И вдруг, не успеваю я опомниться, как он хватает какой-то стул, ставит его рядом с мольбертом, сгребает меня в охапку и кричит:

– Мадам, прошу!

В одно мгновение я брошена на стул, Гунаропуло облакачивает мою руку на верхнее ребро доски и изрядным толчком в затылок «томно» склоняет мою голову на руку. Итак, я заменяю венки из роз!

Красин не выдерживает. Он отворачивается к окну, и я вижу, что вся его тощая фигура трясется от смеха.

Я вскакиваю. Нет, нет, мне нужна только рукопись, без венков, без роз, без дам! Но дело оказывается сложнее: если отговорить летописца от венка было еще возможно, то последний план он без боя не уступает. В довершение всего Феб сзади дергает меня за платье и шепчет:

– Тетя Ака, послушайте, здорово выходит с вами, честное пионерское!

Да, вероятно, «здорово».

После долгих прений, во время которых летописец даже грозит мне, что он сейчас же уйдет, я иду на компромисс: я буду фотографироваться на фоне дельфинов, банок со змеями и птичьих чучел в любой позе, какая заблагорассудится мастеру, но рукопись будет сфотографирована без меня.

Священнодействие совершено. Снимки будут готовы через неделю.

На другой день я опять иду в музей. Дела мои там кончены, но надо покормить шакаленка, да и просто повидать директора и обменяться с ним впечатлениями.

Красин встречает меня у входа на антресоли. На его лице новое, незнакомое мне выражение: он не улыбается, но в глазах у него мелькают лукавые искорки, и весь вид его точно спрашивает: «Ну как? Вы довольны? Здорово, правда?»

Я решаю сразу же перейти в наступление:

– Знаете, Владимир Иванович, что я вспомнила вчера, когда вы отвернулись к окну во время сеанса летописца? Приходилось ли вам читать книжечку Аверченко «Осколки разбитого вдребезги»? Помните, как она кончается? – «Почему так странно трясутся ваши плечи? Смеетесь вы или плачете?» А ведь спросить как раз этими словами имелись все основания: было и смешно, и глупо, и очень печально...

Красин недоуменно взглядывает на меня.

– Вообразите на минуту, что произошло бы, если при этой сцене присутствовал бы сам Лермонтов. Что сказал бы он? Как поступил бы?

Красин хмурит брови и задумывается.

– Мне кажется, – продолжаю я, – он недобро усмехнулся бы и вышел из комнаты, процедив сквозь зубы:

*...А жизнь, как помотришь с холодным  
вниманьем вокруг, –  
Такая пустая и глупая шутка...*

– Вы думаете? – живо перебивает меня директор. – А мне кажется, что он расхохотался бы и попросил вашего летописца сфотографировать его тут же в каком-нибудь совсем невероятном костюме!

– Даже зная содержание письма, ради которого был вызван Анастас? Не думаю... А впрочем – кто ответит на это с уверенностью? Да и положение-то было действительно сложное: глупо... смешно, по-настоящему смешно!.. А сегодня смотрю на вас и думаю, а ведь он, такой-сякой, оказывается, еще и злорадует.

– Сознаюсь, позлорадствовал я, – смеется он в ответ. – Но, если это не парадокс, то скажу: позлорадствовал без зла. Я предоставил вам полную свободу действий – и вы сами пали жертвой этого вашего фотоисторика. А мое дело маленькое.

– В общем – «хватит тебе мучить и допекать меня своими выдумками – помучься сама, а я посмотрю!» Так? В этом отношении вы правы. Но в ответ я хотела бы задать вам вопрос – очень серьезный вопрос. Условимся заранее, что если вы не захотите отвечать, вы так мне и скажете. Идет?

– Конечно.

Это «конечно» сказано без колебаний. Но в глазах Красина я опять вижу настороженность.

– Знаете, чем вы больше всего удивили меня в нашем знакомстве? Вы, вероятно, думаете, что вашим туалетом, вашими рассказами о цапле или о том, как вы слушали мое пение, ведя на веревке козу, или латинскими цитатами? Нет, все это

очень колоритно, иногда не совсем понятно, но... нет, не этим. Вы удивили меня, показывая мне музей. Я поняла, что настоящий Владимир Иванович просто-Красин именно здесь, в этих комнатах. Здесь заключено подлинное, любимое дело всей его жизни. Особенно в комнатах флоры и фауны. И это совершенно не противоречило ни вашему туалету, ни цапле, ни козе. Но ведь у вас в музее есть и отдел истории края. У вас стоят дольмены, лежат древние орудия, оружие разных веков, образцы вышивок, паникадило с великолепной чеканной вязью... Это же прошлое, и с т о р и я. История в наглядных образцах. Но ведь образцы без обобщений, без выводов, без установления закономерностей, без всестороннего рассмотрения фактов – еще не история. Без иероглифов, без рукописей, без книг, без изысканий – это... Ну, впрочем, я не собираюсь читать вам лекцию. Вы и сами все понимаете. Объясните же мне, как вы, такой замечательный собиратель, такой энтузиаст, такой... ну, человек большой пытливой души, обошли своим вниманием один из главных отделов музея – его письменный архив? Как могли отдать его на растерзание, да и сами терзали, по вашему собственному признанию? Как это могло случиться?

Красин сидит, низко опустив голову.

– Да, с этой стороны нападения я не ждал, – наконец тихо говорит он.

Наступает молчание.

– Ну что ж, отвечу, – вдруг резко поднимает он голову. – Правду отвечу.

Он тихо, точно в недоумении, разводит руками.

– Конечно, проще всего сказать «*Mea culpa*»<sup>7</sup> и замолчать. Но ведь вы и так знаете, что это моя вина. Вы спрашиваете – п о ч е м у. Постараюсь сам осознать это, объективно, со всею строгостью. Видите ли... И до меня здесь были энтузиасты-соби-

---

<sup>7</sup> Моя вина, мой грех (*латинск.*)

ратели... Вот на Тонком Мысу, например, много лет – проживал в своей усадьбе сенатор Рейнеке, Михаил... Михаил... Отчества не припомню. Говорили, что у него какие-то неприятности в сенате были, в либерализме его обвиняли – он и уехал сюда, купил участок и так жил тут до самой смерти. Я его помню, но познакомиться с ним стеснялся: кто я перед ним? Мальчишка, птенец желторотый... Говорили, что начитанный, умный старик был. Он очень нашим краем интересовался, собирал все: археологию, документы, флору, фауну, быт... Кажется, одинокий был. Ну, а я только учительствовать начал, собирал с ребяташками, что мог, что понимал и знал... Помещения не было, хранил частью дома, а частью в школе, комнатку мы сами маленькую от класса отгородили. Инспекция школьная наезжала, даже похваливала меня иногда... Потом Рейнеке умер, дом опечатали, ждали какого-то распоряжения... А годы-то шли... Потом – революция... Ну... а дальше... вызвали меня в Новороссийск, а там и в Краснодар... Говорят – хотим создать вам условия, вы столько лет полезной работой занимаетесь, она для масс очень нужна... Мы предоставим вам помещение – организуйте краевой музей. А мы, говорят, вам и материал подбросим, получите собрание Рейнеке. Я обрадовался: ведь такое счастье! И точно: домик вот этот дали, «единицы» выделили. И «материал подбросили...» Ну, уж и материал! От коллекции Рейнеке, о которой я столько слышал, к тому времени рожки да ножки остались: то ли расхитили, то ли увезли куда-нибудь в другое хранилище – не знаю. Вот... один из дольменов от него достался, несколько вышивок золотыми нитями, пицаль и другое оружие... Чучела, говорят, все погнили и молью съедены, – даже не привозили их, выбросили. А под конец приволокли несколько бо-ольших связок с бумагами. Говорят, где-то в углу свалены были. Ну и я их в углу свалил, а потом часть в шкаф устроил. А заниматься не занимался. Я же и предполагать не мог, что там раскопается это письмо! Глянул

разок-другой, а там счета, описи товаров в лавке – какой-то там владелец обанкротился... Да ну их совсем! И интересоваться не стал. Вот так и получилось. *Mea culpa*, сознаюсь...

– «Раскопается»! Директор и предположить не мог, что «раскопается»! И вам ни разу не пришло в голову, что если образцы материальной культуры из коллекции были расхищены, то и рукописный архив Рейнеке пострадал не меньше? Вряд ли энтузиаст-коллекционер, начитанный, культурный человек, мог свалить бумаги без разбора в угол! Это сделали чужие руки, в бумагах они наверняка искали реальные ценности – акции, что ли, или деньги в ассигнациях – не завалилось ли случайно? И сделано это было давно, вскоре после смерти Рейнеке, может быть, даже теми, кто опечатывал дом, каким-нибудь урядником или приставом...

Красин сидит молча.

– Я никак не могу и не имею права судить вас, – продолжаю я, – и выспрашивать тоже. Но... непонятно мне все это, Владимир Иванович. Иногда мне кажется, что вы явились из совсем другой эпохи и никак не укладываетесь в обычные представления нашего времени. Из «Записок охотника» вы, что ли? Ведь какие вихри промчались над нашей страной, какие сдвиги произошли, мы другим воздухом дышим и не видеть, не понимать всего этого невозможно... А вы... Вы же образованный, начитанный человек, но... создается впечатление, точно вы ничего не замечаете, ничто вас не трогает, живете вы своим замкнутым миром и боитесь вторжений в него...

– Ну, это, простите, совсем не так, – вдруг горячо перебивает он. – Не так, вовсе не так! Как мог я «не заметить», «пройти мимо» и еще что-то, что вы перечисляли, когда этот самый «вихрь», о котором вы упомянули, закрутил меня самого? Мне сказали: «Ты нужен людям, живи, работай», – и дали в руки любимое дело, поддержали мой труд, а ведь его

все считали, да и сейчас многие считают, чудачеством... Нет... Вы наблюдательны, чутки... Посмотрите кругом: очень много людей делают вид, что они полезны обществу, хлопочут, суетятся, раздувают кадило, – а внутри пусто... Вы как-то выразились «кастрированная душа»... Вот им действительно все безразлично, их ничто не касается, кроме собственного благополучия... И если этакий тип устроит «вторжение» – это по-настоящему страшно... А, например, к вашему вторжению это не относится.

Красин даже задохнулся от волнения. И тихо закончил :

– В гибели архива оправдаться мне нечем. Виновен.

– Владимир Иванович, простите меня. Я не хотела делать вам больно. Я слишком глубоко зачерпнула... Никто мне на это не давал права...

– Да бог с вами! Я и не думаю обижаться. Ведь ваши впечатления внешне правильны. «Глубоко зачерпнула»... Это хорошо сказано... А теперь...

Он круто поворачивает руль разговора:

– Теперь я закончу тем, с чего начал: я ждал нападения с другой стороны.

– С какой же?

– А зачем я вам буду подсказывать?

Разговор обрывается. Я бросаю взгляд на маленький столик, с первых же дней моей работы принесенный для меня Прокофьевичем. Мы уговорились с Красиным, что он будет класть на этот столик всякую, хотя бы и совсем рваную, бумажку, обнаруженную им в авгиевых конюшнях<sup>8</sup> антресолей. Сегодня на столике ни одного клочка нет. Зато в стакане на краю стола я вижу несколько великолепных пунцовых роз. Стакан треснул,

---

<sup>8</sup> А в г и е в ы к о н ю ш н и – конюшни царя элидского Авгия, которые не чистились тридцать лет, а затем были очищены в один день Гераклом, В переносном смысле сильно загрязненное место.

вода просочилась на стол, а оттуда медленно капает на пол. Скоро стакан опустеет.

– Какая прелесть! – невольно вырывается у меня, – так хороши розы.

– Вам нравится? Возьмите, пожалуйста, возьмите! – он схватывает цветы, чем-то обертывает их стебли, чтобы шипы не кололи руку, и протягивает мне.

Я пытаюсь отказаться, но это бесполезно. Остается поблагодарить. Ухожу с цветами.

Следующие за этим дни мелькают в моей памяти, как стеклышки калейдоскопа. Экскурсия... Получение фотоснимков от летописца... Спектакль киевской оперетты на открытой сцене... Опять экскурсия... Поездка в Новороссийск...

Рукопись сфотографирована отлично. Все четыре страницы читаются свободно. Моя фотография с дельфинами и змеями, вызвавшая бурный восторг всей моей компании как дома, так и в музее, подарена мной и Красину, и Никифору, и, конечно, Фебу. Случайно на карточке, где я снята во весь рост, на переднем плане вышла чья-то босая нога – то ли Феба, то ли Красина. Эта злосчастная нога дает повод Беклемишеву утверждать, что подлинность снимка не подлежит сомнению, так как «к сей фотографии директор Красин ногу приложил».

А после первой же экскурсии я проникаюсь самым настоящим отвращением к Беклемишеву. Он не совершает никакого гадкого поступка, он, как всегда, вежлив и предупредителен с дамами, мило прост с мужчинами. Он отлично ведет экскурсию, не пропускает ни одного случая, когда может рассказать что-либо из истории края или указать на чем-либо интересное место. Но его мелкие хищнические замашки, его стремление «урвать» и выгадать на каждой мелочи экскурсии – не у одной меня вызывают сперва удивление, а потом возмущение. Возмущаемся, правда, между собой, вполголоса, – щадим его возраст.

Не успеваем мы, экскурсанты, взгромоздившиеся на линейку и арбу, отъехать от здания музея, где был назначен сбор записавшихся и куда подали транспорт, как Беклемишев предупреждает нас, что, как в питании, так и в приобретениях членов группы, он, как руководитель, должен принимать бесплатное участие. О первой половине этих условий никаких сомнений не было: конечно же, на Михайловском перевале экскурсовод будет обедать с нами, и, разумеется, денег с него мы не возьмем. Но приобретения?.. Мы даже сперва не поняли, о чем он говорит.

– Ну, орехи там грецкие продаются, пасека близко, меду купить можно, – поясняет Беклемишев. – Кроме того, если экскурсанты захватили с собой свою личную закуску или продукты, я полагаю, что экскурсовод имеет право рассчитывать на угощение...

Такая откровенная навязчивость, чтобы не сказать резче, сразу вызывает «бурю вполголоса». Одна из женщин нашей группы записалась на экскурсию с двумя ребятами – учениками младших классов школы. Она взяла для них бутылочку молока и пачку печенья. Во время небольшой остановки вблизи дачи В. Г. Короленко дети просят пить. Мать наливает им в маленькую кружечку молока и вынимает из свертка печенье. Немедленно же возле нее появляется сухая фигура Беклемишева со стаканом в руке: он просит молока «промочить горло» и сам протягивает руку за печеньем. То же происходит со всяким, кто взял с собой конфет, пирожков или еще какой-нибудь мелочи.

Пасека находится вовсе не так близко от нашей стоянки на перевале. Охотников тащиться туда в самую жару, даже по заросшему зеленому хребту перевала, оказывается мало: мы идем втроем – молодая женщина-курортница, студент из Харькова, приехавший в санаторий, и я. Наши наличные средства не так

велики, да и посуда у нас случайная, маленькая: мы приносим с пасеки небольшие баночки чудесного густого меда, и каждый из нас клянется, что не притронется к нему до приезда домой – в Харьков, Пензу и Ленинград, – чтобы побаловать своих близких геленджикским гостинцем.

Беклемишев крутится около нас. В числе купивших мед – я, и он стесняется предъявить свои «права». Да и вид у меня, вероятно, очень воинственный. На риск он не идет. К концу экскурсии он вдруг говорит, что ему стало дурно, что доехать домой он может только лежа в арбе, и слабым голосом просит пить. Конечно же, все может быть, человеку больше семидесяти лет, длинный путь, непрерывные объяснения... Мы устраиваем его в арбе поудобнее. Харьковский студент мчится с бутылкой к горному роднику, воду которого часа два назад расхваливал экскурсовод и сам с наслаждением пил. И вдруг...

Отпив глоток, старик морщится, вытирает губы и едва слышно просит:

– Вода какая-то странная... Привкус ужасный... Медку бы, что ли, в нее вмешать. Или хоть ложечку-другую меда... заешь... Нет ли у кого-нибудь меда?

По группе экскурсантов, столпившихся вокруг арбы, пробегают не то шепот, не то шипение. Студент бросается в сторону, ворча и ругаясь вполголоса. Ведь старик знает же, что мед у нас есть, – так зачем все это представление?! Но старый комендант – знакомый Александры Николаевны, это связывает меня и удерживает от резких выпадов, и я с яростью открываю мою баночку и подряд одну за другой сую две ложки меда в рот «умирающего». Он ловит мою руку, несколько раз целует ее липкими губами и шепчет:

– Благодарю, вы спасли меня...

Потом он заявляет, что не может лежать без подушки, его голове низко, он теряет сознание... И опять я же сажусь в арбу,

сгибаю колени и, покрыв их мягкой шалью, подсовываю под голову лежащей мумии. Ноги мои, скрюченные и неподвижные, отекли и ноют. Ноет и поясница от тряски и непрерывных дробных ударов о заднюю стенку арбы, на которую я опираюсь. Другим пассажирам, едущим в арбе, тоже неудобно, тесно, они боятся пошевелиться, чтобы не беспокоить Беклемишева. И в то же время я думаю: а как доберется до дому от музея такой слабый старик? Надо уговорить возницу довезти заболевшего до его дома. Но как только мы подъезжаем к музею, к нашему общему удивлению старик довольно бодро поднимает с моих колен голову, встает и соскакивает на землю. Галантно поблагодарив меня за заботы, «без которых он рисковал жизнью», он несколько раз тяжело вздыхает, прикладывает руку к груди, просит не беспокоиться о нем и исчезает в темноте.

Теперь – благодарю покорно: поеду в экскурсию только в том случае, если руководителем будет не Беклемишев!

На следующий вечер вчерашний «живой труп» появляется на нашей веранде под руку с женой. На его лице заранее приготовлена любезная улыбка, он то и дело прикладывает руку к сердцу, говорит каким-то расслабленным голосом и галантно целует мне обе руки, благодаря за спасение его жизни. Жена «спасенного» мной, довольно тучная, высокая женщина, давит меня в объятиях. Итак, это визит благодарности!

Беклемишев принес небольшую хорошенькую корзиночку, сплетенную из кукурузных листьев, и передает ее Александре Николаевне.

– Вам недавно понравилась такая корзиночка, – говорит он ей. – Моя жена сама сплела ее вам на память о Геленджике.

Александра Николаевна с улыбкой принимает корзиночку и благодарит Марианну Павловну, спрашивая, не очень ли ее затруднила такая тонкая работа.

– Помилуйте, что вы, она так рада доставить вам удовольствие, – не дав раскрыть рот жене, протестует Беклемишев, – а я только присоединяюсь к ней, тем более, что я обязан жизнью вашей любимой ученице!

Он поворачивается ко мне и отвешивает поклон, а потом, склонив голову к Александре Николаевне, добавляет :

– Четырнадцать рублей все, с материалом.

Я едва не ахаю от неожиданности. Александра Николаевна все с той же улыбкой достает деньги из сумочки и вручает их супругам, благодаря за внимание.

Беклемишев поставил заключительную точку в своей автохарактеристике.

Несколько дней никуда не хожу – принуждена или сидеть, или лежать дома: все еще болят ноги и спина после пути с Михайловского перевала.

Как-то я выползаю на веранду с книжкой в ожидании одной из тетушек нашей хозяйки – особенно любимой мной Натальи Платоновны. Она просила меня помочь ей варить варенье.

Внезапно калитка с улицы настезь распахивается, и Феб мячиком впрыгивает на веранду. У него в руках две чудесные розы, ароматом которых сразу наполняется балкон. Рожца у мальчишки лукавая, веселая, в больших светло-карих глазах задорные огоньки заговорщика. Он протягивает мне розы.

– Возьмите, тетя Ака, это вам! – и тут же всей рукой от локтя до кончиков пальцев вытирает себе нос и рот.

– Откуда ты взял их?

Чертенята-огоньки так и прыгают у него в глазах.

– Вам послали, – лаконично, но с оттенком таинственности сообщает он. – Один человек послал.

Как видно, чувствуя, что дальнейшие мои расспросы обязательно приведут его к предательству, он одним прыжком слетает с веранды и устремляется к калитке.

– Феб! – вдогонку ему кричу я. – Как поживает шакаленок? Мальчишка сразу останавливается.

– На большой! – он поднимает вверх палец. – Я только что накормил его. Шамает все, что ни дай!

Я смеюсь. Тайна принесенных роз полностью выдана: только что накормил, значит, был в музее... Конечно, догадаться можно было и так, но на секунду у меня мелькнула мысль: а что, если это Беклемишев? А потом придет и потребует по трешке за штуку!

– Когда ты следующий раз пойдешь кормить шакаленка, поблагодари от меня, пожалуйста, «одного человека», – стараясь быть серьезной, прошу я.

Мальчуган спохватывается, с минуту растерянно смотрит на меня и, бросив на ходу:

– Честное пионерское! Я ничего не говорил и ничего не знаю! – исчезает за калиткой.

На веранду по ступенькам медленно поднимается Наталья Платоновна.

– Ну, деточка, – ласково обращается она ко мне, – будем варенье варить?

И тут она замечает розы, принесенные Фебом.

– Ого! – добродушно смеется она. – У нашей тети Аки, оказывается, серьезные поклонники завелись! Смотрите, пожалуйста, какие прекрасные розы! Кто это вам преподнес?

– Тайнственный незнакомец прислал мне их через бога солнца! – с пафосом отвечаю я.

Но старушку мистифицировать невозможно: слишком долго она прожила в Геленджике.

– Позвольте, позвольте, – говорит она, внимательно рассматривая цветы. – Этот сорт у нас здесь только в двух хозяйствах есть: у греческой попады и у Синельниковых. Значит, розы вы получили от Красина.

Я только руками развожу.

– Логика ваша мне не совсем понятна: что общего между Синельниковыми, греческой попадьей, Красиным и этими розами?

– Попадья ни при чем, – отвечает старушка. – А Синельниковы – соседи Красиных и дружат с ними.

Мы устраиваемся на ступеньках веранды и принимаемся за работу. Старушка в хорошем настроении и не прочь поболтать со мной. А тема уже найдена: Красин и розы.

О Красине Наталья Платоновна говорит с такой теплотой, как может мать говорить о незадачливом милом сыне. Он умница, у него золотое сердце, мягкий характер, деликатность, такт. Он одаренный человек – пишет стихи.

– Я, конечно, деточка, не знаток, но они мне нравятся, задушевно пишет... В молодости пофрантить любил, одеться со вкусом, барышни вокруг него как ласточки вились, большим успехом пользовался... Потом женился, а потом жена его через два года покинула... С этого и началось... И вообще горя у него много было...

– Горе, горе! – не выдерживаю я. – Мало ли на свете людей, у которых горя много было, но не все же они ходят голыми и кормят мышей ценнейшими документами! И добро бы еще, если бы он совсем дурачком был: тут уж спроса нет, а ведь он, как вы сами сказали, – умница, да и я в этом убедилась, когда он меня по музею водил... Я понимаю: мягкий, слабый человек мог опуститься, стать рассеянным, небрежным к себе, – но у него это все в таких необычных сочетаниях, так противоречиво...

– А вы разве знаете рецепт горя, деточка? И как какой человек его переносит? – покачивает головой старушка, слушая меня. – На горе, деточка, как и на милость, образца нет...

– Вы говорите – началось у него с ухода жены. Нам Беклемишев рассказывал. Но...

Тонкое, красивое лицо Натальи Платоновны вдруг становится строгим и отчужденным.

– О Беклемишеве, деточка, говорить не будем, — сухо прерывает она меня. — Его вины перед Красиным много.

Ах, вот как! Значит, моя собеседница знает об этих людях еще больше, чем я думала!

– Наталья Платоновна, — с жаром упрощаю я ее, — милая, хорошая, ну расскажите, в чем там дело? Вы сказали — «о Беклемишеве говорить не будем», а я как раз хочу знать...

– ...о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? — слишком откровенно старается перевести разговор на шутку старушка.

– Не так, не так вы говорите, — горячусь я, — не о шутках речь! И вы сами знаете, и я чувствую, что здесь... ну как вам сказать... корни глубокие... Я встречаюсь с этими людьми, мне кажется — я заглянула в их души... слегка, конечно, чуть-чуть... у Беклемишева это и не трудно: сразу до доньшка дойдешь — и все понятно... а вот у Красина... я не понимаю. А я должна понимать людей, с которыми общаюсь. Должна...

Наталья Платоновна задумывается. В тазу с вареньем, легонько булькая, вспениваются первые пузырьки. Она не замечает их.

– Вот что, деточка, — наконец говорит она. — От вас ведь никуда не денешься... А я не хотела говорить о Беклемишеве, потому что он все-таки добрый знакомый Александры Николаевны и...

– «Добрый знакомый»! — снова киплю я. — А вы думаете, Александра Николаевна не разобралась в нем? В восторге от него? Ну какие вы все странные! Вы вот не хотите чего-то рассказать об этой мумии, потому что он «добрый знакомый» моей Александры Николаевны, а она читает мне нотации за мою несдержанность и резкость по отношению к нему, потому что он ваш добрый знакомый...

Старушка смеется, потом, спохватившись, начинает снимать пенки со взбунтовавшегося варенья и неожиданно заканчивает мою мысль:

– ... а мы, старухи, принимаем его вежливо и радушно, потому что он добрый знакомый нашей племянницы и ее мужа... А они... право, не знаю... Может быть, тоже из-за кого-нибудь... Вот в какой клубок людей запутал! Попробуйте распутать! А насчет того, что у них с Красиным... Ну, прежде всего, это вы знаете, Беклемишев очень уж насмешничал и остроумничал, когда у Владимира Ивановича жена ушла. Какие-то анекдоты придумывал, стишки сочинял – и, на грех, Красин услышал, как мальчишки-школьники эти насмешечки распевали. В школе дети его вообще очень любили, но всегда найдутся злые говорорезы. И так-то он не в себе был, а тут его точно перевернуло: подал прошение об отставке, перестал ходить на уроки, замкнулся совсем. В большом городе это все по-другому проходит, а здесь ведь его каждая собачонка знает. Он на улице перестал выходить, никого видеть не хотел. Кто его поближе знал, рассказывали, будто он говорил: «Не могу я людям в глаза смотреть. Как я с моими учениками встречусь? Я же оплеван, я для всех шутком стал...» Копался у себя в огороде, овощи разводил, фрукты... Соседка его, Синельникова, на базаре продавала. Очень нуждался, конечно. Тут его мать сразу к рукам прибрала, она старуха крепкая, деспотичная была. «Не умел жениться на порядочной, не умеешь копейку заработать – сам и казись! Ни кормить, ни обстирывать и обштопывать тебя я не собираюсь! Я не для этого тебе образование давала!» Он сразу смирился, может, и вправду виноватым себя считал? А она кошек развела – одна, говорит, у меня отрада и забота.

– А как же он директором оказался?

– А вот, подождите. Пришла революция. Его точно живой водой сбрызнуло. В демонстрациях я его не раз видела: ходит,

поет – и все точно к чему-то прислушивается. После февральской-то и Беклемишев расцвел: на митингах выступает, кричит, в позы становится, к чему-то там призывает... Его и делегатом, его и депутатом – в гору пошел! Но ненадолго: до Октября. А после я его что-то несколько лет нигде не видела. Зато с Красным дело опять повернулось к лучшему. Вызвали его сперва в Новороссийск, потом в Краснодар, да вы говорили, что он вам сам рассказывал... Радовался-то он как! И, представьте, мать к нему иначе относиться стала! Приоделся он – не франтовато, конечно, но все же кое что справил себе... Будто и человеком стал. И опять Беклемишев!

– А ему-то чего нужно было?

– Не знаю я, деточка, непонятно мне. Думала я об этом не раз... Не могло ли когда-нибудь случиться, что Красин не выдержал его шуточек и укусов, да и брякнул ему что-то резкое? Ведь всякому терпению конец приходит! Терпел, терпел – и дал сдачи... Я не знаю, я только думаю так... А Беклемишев – злопамятный, мстительный... Завел на Красина писанину по инстанциям: и недобросовестен-то он, и недостаточно образован для такой должности, и не бережет музейного имущества, и деньги тратит не на то, что надо, и фиктивные счета оформляет... Ревизия за ревизией! Непрерывная трепка нервов! Но все это еще полбеды. А вот потом написал он куда-то, в высшее музейное управление какое-то, что ли? – я в этом деле ничего не понимаю, – будто Красин не все свои коллекции государству сдал, что самое ценное у него дома спрятано и что новые покупки, которые он на государственные деньги делает, – он тоже не все в описи вводит и у себя дома припрятывает. Ну и нагрянула комиссия приезжая прямо к нему на дом. И для порядка – милиционер. Мать как увидела, – хлоп! на пол без сознания. Жива осталась, а ноги ей парализовало и одна рука плохо работает. Конечно, ничего не нашли, просили извинить

за беспокойство. И вообще старались вести себя так, будто это не формальный обыск, а просто пришли посмотреть, как он живет. Неприятно же людям! Уехали. Мы сперва и не знали, что это Беклемишева дело. Но потом Красин по каким-то делам в Краснодар ездил, – там в отделе культуры ему девушка и показала. За личной подписью. А мать так и не поправляется, совсем сдурела, а он ее жалеет: «Все это, – говорит, – из-за меня с ней случилось...» А вот то, что вы сказали о Беклемишеве, деточка, тоже не так просто, как кажется. Вы сказали, что к нему в душу заглянуть не трудно: сразу, мол, до доньшка дойдешь. Ой, нет, деточка!

Тут и психиатр не всякий разберется! Подумать только: сам решил себя изуродовать! Ведь люди-то не так делают: коли единственное дитя свое потеряют, – живут и надеются, а по старинке-то и бога молят, чтобы дала им жизнь еще ребеночка в утешение! Мне кажется, уже тогда, в самом его решении большая ненормальность чувствуется. Буйство душевное. Стогряча сделано было. А кто из нас знает, что он потом переживал? Не каялся ли? А оно непоправимо. И видел, всегда видел, что люди на него оглядываются, а кто и усмехнется. Вот и подозрительность, и озлобленность, и мстительность – все тут как тут. Вот оно, горе-то, деточка, только на другой манер, наизнанку, что ли...

Дальше я плохо слушала мою собеседницу и под первым же предлогом убежала к морю. Мне хотелось остаться одной, перебрать в памяти разговоры с Красиным и по-новому осмыслить его фразы, брошенные им незаконченными. Да, теперь многое становилось понятным: и его испуганный вид при моем первом появлении и моих вопросах об архиве музея («Опять, опять он, Беклемишев, натравил кого-то!»), и его невысказанное, но явно сквозившее нежелание пускать фотографа для съемок рукописи, и его фраза о «вторжении людей с

кастрированной душой» е его личные дела и личную жизнь, и даже его слова: «а знаете, я раньше боялся вас»...

А Беклемишев? «Горе наизнанку»? Может быть, и так. Я невольно вспоминаю злой рассказ директора о несчастье и диком решении «салонного болтуна». Теперь я почти уверена, что Красин когда-то не сдержал себя и ответил на издевательские шуточки столь же беспощадно и резко, как рассказал мне. «...Терпишь, терпишь, да и сорвешься»... Вот и сорвался. Беклемишев мстителен? Но кто же виноват в этом случае? Беклемишев сам вызвал ответный выпад! А из слов Наталии Платоновны получается, что и его чуть ли не жалеть надо? Не знаю, не могу... Да уж если на то пошло, она сама его недолюбливает! Злой кляузник... Мелкая алчность... Если говорить о горе, то, вероятно, оно во всяком человеке только пробуждает и обостряет черты, присущие ему ранее в потенциальном, неразвернутом, что ли, состоянии...

Ух, в какой водоворот я попала, сама того не подозревая! А ведь я рассказывала дома в присутствии Беклемишева о загубленных материалах архива, о моей работе там, о драгоценном письме на голубой бумаге... Он из этого может устроить новые неприятности Красину в архивном и музейном управлениях!

И как всегда в таких случаях, я немедленно задала себе вопрос: а что должна сделать я? Чем поправить мою простодушную откровенность в присутствии человека, который только и ищет предлога, как бы затеять склоку, как бы раздуть дело и «насолить» кому-то?

Ну, да. Остающееся в моем распоряжении время я должна посвятить всем сусекам и застрехам музейного мезонина, подобрать все подчистую, до последней бумажонки, все привести в полный порядок и на все составить опись. Ведь беда Красина, этого натуралиста-энтузиаста, в том, что архив Рейнеке он получил сваленным в кучу, растерзанным. И, не будучи сам специ-

алистом этого дела, отнесся к нему соответствующим образом: раз у Рейнеке он был в забросе, – значит, ничего ценного он собой не представляет – и свалил его частью в шкаф, а частью на пол, почти как утиль. Погибшего не вернешь, но то, что уцелело, нужно не только разложить по пачкам и подклеить, но и привести в вид, подобающий – пусть маленькому, но оберегаемому – архиву. И научить этого чудака хранить бумаги и беречь их.

Устав бродить по пляжу, я сажусь в стороне на горку обточенной гальки, выброшенной морем на берег во время прилива. Основное обдумано и решено. И мысли расплываются и тают – вот так же, как то маленькое, прозрачное облачко, плывущее над морем... Небо сегодня бесконечно высокое, море притихло и только посверкивает над солнцем тысячами огоньков. Кажется, во всем такая гармония, все так хорошо, так спокойно... И Беклемишев! Ну зачем такие люди живут на свете?!

Дома все рассказываю Александре Николаевне. Она хмурит брови, но не кажется удивленной, – я же знаю, что в душе Беклемишев совсем не нравится ей и что она неизменно вежлива с ним из деликатности по отношению к хозяевам и из «педагогических мотивов» в отношении меня: учись, мол, быть учливой ко всем и не ершишь на стариков.

– Ну и отдых ты себе устроила! – говорит она наконец. – Сперва Лермонтовым заболела, потом... Я обрадовалась было, что у тебя в музее вся работа закончена и что ты хоть в последние дни отпуска и здесь устроишь себе отпуск! А теперь – снова...

– Александра Николаевна, а что сделали бы вы сами в этом случае?

Ответ звучит твердо и четко:

– Я поступила бы так же, как ты.

Когда я являюсь в музей со всеми моими прежними атрибутами – спецовкой, косынкой, пыльной тряпкой, мылом и про-

чим, Красин не может скрыть своего удивления – но и радости одновременно. Никифор встречает меня широкой улыбкой, но по своей склонности к философии замечает:

– Нэ булò у бабы хлопот, так купьла порося...

Однако тут же он начинает что-то вытирать моей тряпкой и подметать пол «у кабинети дыректора». Красин с хитрой улыбочкой спрашивает, не будет ли сегодня еще одного «выездного сеанса» летописца в портретах.

Он еще больше удивляется, когда я сообщаю ему, что буду «шарить повсюду» и выискивать «все, какие есть, остатки». Он указывает на груду попорченных чучел, скелетов, рогов, клювов и когтистых лап и все так же иронически интересуется, каких мне еще «остатков» надо, а когда я выпаливаю ему, что мне нужны только бумаги, он даже слегка отшатывается от меня.

– Опять бумаги?!

Я объясняю ему: да, опять бумаги. Но первый раз я только разбирала и спасала их, а теперь приведу в тот вид, в каком полагается их хранить в архиве, и составлю на них опись. А если он, директор, будет упрямыться, то я приведу Феба и его приятелей – пусть обшарят все чердаки, подвалы и щели музея.

И посмотрев ему прямо в глаза, медленно заканчиваю:

– Это и вообще сделать нужно, и необходимо на случай «вторжений».

– Ах... вот что...

Больше он не говорит ни слова и добросовестно выгребает остатки старых бумаг из всех сараюшек, из всех «сусеков и застрех» музея.

Сбросив на стол последний ворох грязных, запыленных листов, Красин садится прямо на пол.

– Ну, теперь, действительно, все, – покорно докладывает он.

– Феба вызывать не надо?

Он отрицательно мотает головой и повторяет:

– Все.

На этот раз мой урожай невелик, но все же: три карты Черноморского побережья от Таманского залива до селения Лазаревского, разных годов прошлого столетия, две из них вычерчены от руки, третья – отпечатана типографски; несколько купчих и дарственных записей и отдельные листы каких-то документов и частных писем без начала и без конца. Остальное – рваные обрывочки и явный музейный утиль.

Следовательно, работы будет немного, и справлюсь я с нею за короткий срок, тем более, что умудренный опытом Никифор Прокофьевич уже притащил утюг и спрашивает меня, будем ли мы варить клей.

Я принимаюсь за работу. Красин то входит в «кабинет», то исчезает за дверкой своей комнатушки. Начав подклейку разорванных краев одной из карт, я решаюсь попросить его:

– Владимир Иванович, мне говорили, что вы стихи пишете. Вы бы показали мне их...

Он с минуту молча смотрит на меня, потом спрашивает:

– К...кто это говорил вам?

– Разные люди, – уклончиво отвечаю я. – И очень хвалили. Покажите, Владимир Иванович, я ведь сама этим грешу!

– Ни за что, – твердо заявляет он. – Это все ерунда. Впрочем, я и не пишу давно.

И заметив, что я собираюсь настаивать, он резко отрезает:

– Нет у меня ничего. Бросим говорить об этом. Я вам мешаю заниматься.

И он скрывается за дверкой.

На следующий день он все же появляется из своего убежища. Но спрашивать его о стихах я больше не решаюсь.

Конечно, я больше не отважусь ни на какие расспросы.

Моя работа в музее закончена. Составлена опись; бумаги, письма, карты разложены по папкам, все заинвентаризировано,

езде поставлены шифры, пронумерованы листы. Я все сдала Красину и сама разложила по полкам шкафа, отремонтированного Никифором Прокофьевичем. Всюду на антресолях разложена отравка для мышей, все дырки, щелки и норки засыпаны битым стеклом, замурованы и заколочены. А заветное письмо на голубой бумаге...

Ах, сколько раз меня мучил соблазн попросить Красина отдать его мне для передачи в Пушкинский Дом! Ведь оно нигде у него не было учтено, никто ничего о нем не знал... Если бы не мое «вторжение» в шкаф на антресолях, оно погибло бы вместе с другими бумагами... И Красин сам с охотой отдал бы его мне, чтобы избавиться от хлопот... Меня удерживало годами воспитанное во мне чувство работника государственных хранилищ. Ведь рукопись найдена мною в музее, она принадлежит музею, и я при лучших моих намерениях не имею права взять ее на свой страх и риск. Мое дело – охранить ее, то есть по возможности отремонтировать и вернуть музею в должном виде. А изъятие ее и передача в другое хранилище должны быть строго оформлены. Соблазн был велик, но одолело чувство долга и сознание того, что можно и чего нельзя.

А теперь, после разговора с Натальей Платоновной, я и думать не смела о «соблазне»! Ведь Беклемишев знает о письме – что он может устроить Красину, если при первой же ревизии это письмо не будет обнаружено?! Даже если директор сошлется на передачу документа в Пушкинский Дом, даже когда официальной перепиской подтвердится эта передача!

Все равно: как смел отдавать без ведома краевых инстанций, на веру, безответственно! Нет, это было совершенно исключено!

И заветная папка легла на одну из полок музейного шкафа.

Работа закончена. Но и отпуск тоже кончается. Уже заказаны железнодорожные билеты, делаются последние покупки, вообще поездке в Геленджик наступает конец.

В день нашего отъезда разражается гроза с ливнем. Это первый дождь за все время нашей жизни в Геленджике. Гроза проходит быстро, опять сверкает солнце, – все очень кстати: нам надо торопиться на автостанцию, скоро отъезжает автобус на Новороссийск. Но на улицах стоят реки. Идти в обуви невозможно. Мы разуваемся и с туфлями в руках шлепаем к остановке машины. Феб провожает нас. На платформочке автостанции сухо, можно обуться.

Появляется длинная фигура Беклемишева. Он до приторности галантен, рассыпается в комплиментах и пожеланиях. Элегантно взмахнув на прощанье своей белоснежной кепкой (он называет ее не иначе, как «кэпи») и не дожидаясь момента отъезда, он под предлогом каких-то неотложных дел быстро покидает автостанцию.

Феб протягивает нам свою смуглую руку.

– Тетя Ака, – торопливо говорит он, – за шакаленка вы не беспокойтесь, я не брошу, кормить буду. Это, оказывается, самочка. Мы Вестой ее назвали... Хотели Акой в честь вас назвать, но директор не велел... А вы непременно приезжайте еще!

В глубине улицы появляется знакомый силуэт: бронзовый человек в трусиках. Он приближается медленно. Кажется, что потоки воды, покрывающие его ноги выше щиколоток, мешают ему идти. Голова опущена: он, вероятно, выбирает дорогу.

В эту минуту начинается посадка. Мы с Александрой Николаевной садимся одни из первых. Мы открываем все, что можно открыть: двери, окна – иначе внутри задохнешься. Красин подходит к нашему окну.

– Вот... вам... ваши любимые... В этом году, наверное, последние... И спасибо за все... – и он протягивает мне несколько чудесных крупных роз.

Автобус трогается, шелестя по воде. Я выглядываю из окна. Красин стоит неподвижно и, кажется, не смотрит в нашу сторону. Снова начинается крупный дождь. Мы поднимаем стекла автобуса.

Сквозь густую сетку дождя передо мной мелькает, все удаляясь влево, геленджикская бухта. Над нею – серое облачное небо, и вода в ней тоже какая-то стальная...

Прощай, Геленджик, прощай, море, прощайте, друзья, и... до свиданья, *мой* Лермонтов!

На следующий год я не смогла поехать в Геленджик. Из письма хозяев белого домика, которое они прислали Александре Николаевне, я узнала, что Красин той же зимой умер, – умер таким же одиноким и замкнутым, как жил...

А как же письмо? Заветное письмо на голубой бумаге! Что случилось с ним?

Приехав в Ленинград, я не сразу попала в Пушкинский Дом. Однако, при первой же возможности урвав часок из туго набитых работой дней, я принесла мою «добычу» – фотокопию и мою рукописную копию – и сдала ее ученому секретарю Пушкинского Дома Борису Ивановичу Коплану.

– Я свое дело сделала, теперь отнимите поскорей это письмо у Красина, – сказала я при этом. – Условия хранения там из рук вон плохие.

Меня благодарили, обещали, что все будет устроено в ближайшее время. Борис Иванович заявил, что он сам займется этим.

Повседневная работа захватила меня. А кроме того, я была настолько уверена, что теперь дело покатится само собой, как по рельсам, что мне и в голову не приходило беспокоить людей

и надоедать им своими вопросами: в Пушкинском Доме и сами знают, когда, что и как надо оформить.

Дальше я на много лет оторвалась и от своей работы и от Ленинграда.

В свободное от других, обязательных занятий время я занялась литературными записями, как я тогда думала – «для себя». Я записывала в виде небольших рассказов различные эпизоды из своей жизни – встречи с людьми, интересные чем-либо факты, мои наблюдения и выводы. В этом ряду появилась и повесть о поездке в Геленджик, солнечный город солнечного Черноморского побережья. Как живые, встали передо мной люди, окружавшие меня тогда, – целая вереница людей. А найденное мною письмо!.. Писала я запойно, я боялась упустить охватившую меня ясность представления – зрительного и слухового – и возможность осмыслить факты, поступки и настроения как моих героев, так и мои собственные. И опять скажу: я была уверена, что рукопись давно уже находится в Пушкинском Доме, что она изучена, опубликована, что специалистами установлен ее автор. Поэтому я ввела в повесть историю моей находки только как эпизод, – правда, один из главных, но все же как эпизод, а не как основную тему. Текст самого письма я вписала в рассказ по памяти. Правда, отдельные периоды его настолько четко запомнились мне, что я смело записала их, как точную копию. Некоторые же места я принуждена была дать приблизительно, по содержанию их. Во-первых, я писала тогда «для себя», а не для немедленной публикации, а во-вторых, мне казалось, что в случае надобности стоит приехать в Пушкинский Дом, взять рукопись и выверить текст...

А время спешило. Годы шли, бежали, летели...

...В 1962 году в Алма-Ате я работала над подготовкой к печати моего сборника рассказов. Туда вошли несколько небольших вещей, некогда набросанных «для себя», заново от-

редактированные и частично переработанные мной. На глаза мне попались пожелтевшие листки, испещренные выцветшими чернилами – давняя повесть о моей поездке в Геленджик! Вот – материал! Да, но как же опубликовать текст письма, не выверив его по оригиналу?

А чего проще? Ведь «в случае надобности стоит приехать в Пушкинский Дом, взять рукопись и выверить текст»... Но времени остается в обрез: не то что съездить в Ленинград и заняться этим делом на месте, но и списаться с Пушкинским Домом я не успею! Срок сдачи сборника уже наступает!

Хорошо, эта повесть пойдет во второй книжке. Но розыски и снятие новой копии письма надо начинать сейчас же, не откладывая.

Первым, кто заинтересовался этим письмом и принял участие в моих хлопотах по разысканию его, был Ираклий Луарсабович Андроников. Проводя лето в Доме Писателей «Переделкино» под Москвой, я рассказала ему вкратце историю моей геленджикской находки. Ираклий Луарсабович как раз собирался ехать в Ленинград и предложил мне навести справки в Пушкинском Доме. Результаты его поисков оказались печальными: никаких следов рукописи в Пушкинском Доме он обнаружить не мог; моих фотоснимков там тоже не оказалось, и переписки относительно передачи письма геленджикским музеем в архиве не имеется. Борис Иванович Коплан скончался в Ленинграде во время блокады, его личный архив и библиотека погибли – сгорели после одной из бомбежек. Если мои материалы были взяты им для работы на дому, – искать их бесполезно. Таким образом, вопрос, была ли затребована рукопись из Геленджика, была ли она переслана и получена, или по какому-либо печальному стечению обстоятельств Б. И. Коплан не смог сделать этого сразу же, – выяснить не удалось. А потом, когда Красин скончался, вряд ли Пушкинский Дом мог

получить из Геленджика какой-нибудь вразумительный ответ, даже если бы Б. И. Коплан и запросил дирекцию письмом. В общем, следы терялись...

Между тем, мне была совершенно ясна возросшая ценность этого письма. За тридцать с лишним лет, которые прошли со времени моей поездки в Геленджик и раскопок в музейном архиве, специалисты лермонтоведы проделали огромную работу. Дуэль Лермонтова, обстоятельства, предшествовавшие ей и последовавшие за ней, детально изучены; труды и розыски И. Л. Андроникова, С. А. Андреева-Кривича и Э. Г. Герштейн расчистили огромное поле вокруг последних дней поэта и подробностей его трагической смерти, засоренное сбивчивыми и неточными сведениями. Мы узнали о ряде подтасовок, сознательно созданных в деле о дуэли 15 июля 1841 года (например, сознательная подмена секундантов: у Лермонтова фактически был Глебов, у Мартынова – Васильчиков, между тем с самого начала, т. е. сразу после дуэли, по каким-то причинам была создана обратная версия), о вуалировке подробностей, умалчиваниях, секретных инструкциях как самому «следствию», так и «следствия» – отдельным лицам, о сознательной дискредитации Лермонтова, и т. п. Мы знаем, с каким трудом ученые специалисты снимали плотный покров лжи, окутывавшей последние дни великого поэта. В этом свете наше письмо давало новые подробности, которые могли быть вполне оценены – приняты или отвергнуты – только лермонтоведами. Дуэль состоялась около пяти часов дня. Все, кто присутствовал при этом ужасном убийстве (а их было четверо<sup>9</sup>, не считая самого Мартынова), немедленно уехали. Тело поэта было брошено – и только в 11 часов вечера поднято и привезено в Пятигорск. Автор нашего письма, проезжая по дороге, сразу опознал поэта

---

<sup>9</sup> По другим версиям – пятеро: два секунданта – Глебов и Васильчиков, а также Трубецкой, Столыпин и Дорохов.

в лицо – следовательно, было еще светло, может быть, было часов шесть или седьмой час.

Откуда же там взялся часовой? Кто поставил его? Кто распорядился никого не подпускать к телу? Есть ли хоть какие-нибудь данные, чтобы определить, *кто* и *кому* написал это письмо? Относительно автора письма ясны только два момента: 1) это был человек одного общественного круга с Лермонтовым, знакомый с ним – он сразу узнал его лицо; да и весь тон письма, обобщения и мысли («подумай, мы ничему не научились со смерти Пушкина!») рисует нам его как человека интеллигентного и начитанного; 2) он не был военным – часовой называет его «господин» и «барин», а не «ваше благородие» или другим воинским обращением к офицеру. Далее: насколько я знаю, текст этого письма противоречит пока только одному известному истории документу: в воспоминаниях Эмилии Шан-Гирей записан рассказ Глебова о том, как он остался один с телом Лермонтова до поздней ночи, пока не приехали дрожки, чтобы отвезти тело на квартиру поэта. Но тут возникает вопрос: в качестве кого оставался Глебов у тела Лермонтова? Ведь он на следствии показал, что был секундантом Мартынова. В таком случае с убитым должен был остаться Васильчиков. Глебов запутывается. Если он мог сознательно изменить на следствии такую важную подробность дуэли, как выбор секундантов дуэлянтами, достоверны ли его другие рассказы? Но на все эти многочисленные вопросы специалисты могли бы ответить, только имея в руках оригинал письма: и почерк, и упоминание каких-то имен в бытовой части текста, и мельчайшие подробности, на которые не обратит внимания неспециалист, могли бы послужить ключом к разгадке всех этих недоразумений в руках опытного лермонтоведа. Не хотелось верить, что такой ценный документ навсегда потерян.

В 1963 году в Алма-Ате, где я по-прежнему живу и работаю, вышла из печати моя небольшая книжечка рассказов «Неписанные истории». Наш читатель – отзывчив и чуток. Я стала получать письма из разных концов нашей страны с отзывами, добрыми пожеланиями, вопросами по тексту рассказов. Одно письмо пришло из Геленджика. Оно было подписано несколькими фамилиями – трогательное письмо неизвестных мне читателей. И я задумалась.

Выражаясь образно, Геленджик сам позвал меня, сам напомнил о незаконченном деле. Мне тут же пришла в голову мысль: а не поехать ли мне туда? Не попробовать ли возобновить тридцать с лишним лет назад брошенную тему?

Я написала письмо той из моих читательниц, которая была уполномочена отправить мне письмо: Ольге Болеславовне Максимовой. Поблагодарила за сердечный отзыв, написала, как дороги автору такие теплые отклики на его произведения, – и обратилась с просьбой узнать и написать мне, существует ли в Геленджике краевой музей, не уничтожен ли он при бомбежках гитлеровцев, не был ли эвакуирован или вообще переведен в другое место, а если – да, то куда именно и к кому мне там следует обратиться. Я, мол, была в Геленджике больше тридцати лет назад, пишу об этой поездке повесть, и мне не хватает кое-каких материалов, которые некогда имелись в музее.

Ответ пришел вскоре: меня приглашали приехать в Геленджик. Музей существует, часть старых экспонатов довоенного времени сохранилась, имеется архив. В этом году исполняется столетие города, и моему приезду будут очень рады. Я решила ехать. Даже в том случае, если моя поездка не будет иметь положительных результатов, это представлялось мне необходимым, как мой долг, как возможность закончить дело, так и оставшееся брошенным много лет назад.

Я снова перечитала мою повесть о первой поездке 1930 года. Вместе с ожившими воспоминаниями во мне проснулся отблеск чувств и переживаний моей молодости. Как некогда я кричала Красину: «Владимир Иванович, идите скорей, находка!.. Нет ли у вас утюга? Ну скорей же, мне необходим утюг!..» – так и теперь мне хотелось ехать как можно скорее, – скорее, а то будет что-то упущено, останется неиспользованною какая-то возможность... Смешно? Да, может быть. Но и... понятно.

К сожалению, случилось так, что поехать я смогла только в сентябре, а не весной, как предполагала. Ну, что ж, лишь бы поехать!

Геленджик встретил меня жаркой солнечной погодой, которая, как мне потом сказали, наступила за день до моего приезда после нескольких дней жестокого норд-оста.

Знакомый путь: от Новороссийска до Геленджика – автобус. Путь тот же, но и не совсем тот. Новая асфальтовая лента дороги вьется серпантином, то ныряя в зеленеющие ущелья горных отрогов, то снова вынося нас на взморье, или, как говорили здесь раньше, «огибая пальцы гор».

Автобус полон. Кроме водителя, в нем сидит «сопровождающий» из того санатория, которому принадлежит машина. Добродушный толстяк, говорящий на смеси русского и украинского языков, добровольно принял на себя роль гида и, надо отдать ему справедливость, хорошо справляется со своей задачей.

... Вот товарный вагон на простом постаменте. Вернее – не вагон, а остов его, оголенный, весь пробитый пулями. Вагон-памятник, стоящий на рубеже, где было остановлено наступление гитлеровцев...

... Цементный завод, заново отстроенный после войны. Здесь шли ожесточенные бои, все кругом было разрушено, как говорится, камня на камне не оставалось...

– А вот еще одно исторично место, – продолжает наш гид, – только исторично оно по другому году: не по Великой Отечественной войне, а по гражданской. Здесь, вот в этой бухточке, была в 1918 году затоплена советская черноморская эскадра. По приказу Советского правительства. Ей угрожал захват интервентами. А ну-ка, граждане та гражданочки, кто из вас знает, кака есть на то советска театральна пьеса?

В автобусе молчание.

– «Хибель эскадры», – торжественно произносит наш провождающий.— А ну-ка, граждане, кто написав эту пьесу?

Опять молчание.

– Ай-яй-яй, как стыдно! Я аж покраснел за вас!

Молоденькая соседка начинает беспокойно ерзать на месте и доверчиво шепчет мне:

– Подскажите! Уж очень он задается!

Мне смешно: «подскажите»! Наверное, недавно, со школьной скамьи. Я шепчу ей ответ.

– Корнейчук! – раздается в автобусе победный писк моей соседки.

– Правильно! Александр Евдокимович Корнейчук. Запомните, граждане! Уж коли к нам пожаловали, надо знать наши историчны места!

И, не меняя поучительного тона, заканчивает:

– А теперь начинаются наши знаменитые геленджикские виноградники. Упреждаю всех: лучшие сорта – это Черные глаза и Улыбка Красавицы. Молодые люди, мотайте на ус, что вас ждет в Геленджике! Названия-то роковые и знаменательные! Будьте готовы!

Пассажиры дружно смеются.

Геленджик, чудесный мой город, сколько ты пережил, какие бури пронеслись над тобою, какие тяжелые раны нанесло

тебе вражеское нашествие – и все же ты улыбаешься, непокоренный и возродившийся!

Я поселилась у О. Б. Максимовой, приславшей мне и письмо от имени геленджикских читателей, и приглашение приехать и остановиться у нее.

Моя хозяйка очень заботлива и гостеприимна. А кроме того, ее, как я вижу, весьма интересует, зачем мне понадобился их городской музей. Ведь она знает, что я приехала по каким-то литературным делам!

Рассказываю ей о письмах и о своих надеждах на геленджикский музей. Имя Красина не говорит ей ничего, но она силится вспомнить, когда, где и что именно она слышала «похожее на это письмо». Ну, такие отдаленные ассоциации – не материал для меня, мало ли было писем и воспоминаний о дуэли Лермонтова! Мне нужно именно это, некогда спасенное мной письмо!

Ольга Болеславовна загорается: мне она предоставляет вести розыски, как мне заблагорассудится, и говорит, что она пригласит к себе своих знакомых – геленджикских старожилов. Можно поговорить с ними, расспросить их, они люди «интересующиеся и разносторонние» и, может быть, чем-то помогут мне.

Конечно, это один из путей в моих поисках, и я благодарю мою хозяйку за ее предложение. Но, мне кажется, начать надо с музея, тем более, что там знают о моем приезде и ждут меня. Я буду рада познакомиться с друзьями Ольги Болеславовны, но, может быть, все разрешится скорее и проще у первоисточника.

И вот я иду по городу. Не узнаю прежних знакомых мест и вначале никак не могу сориентироваться, в каком же районе города по «прежним» понятиям я нахожусь. Очень многие, а бы сказала – почти все улицы переименованы, а может быть, после гитлеровских бомбежек, уничтоживших бóльшую часть

города, сами линии прежних улиц пролегали по-новому. Мне кажется, что я должна находиться совсем близко от нашего белого домика на Трибунальной, но кого я ни спрашиваю, как пройти туда, никто не знает такого названия. Многие даже уверяют меня, что в Геленджике вообще никогда не было такой улицы.

Да и весь город предстает передо мной в новом обличье: он отстроился, похорошел, расширился. На местах, где раньше можно было, проходя по улице, только зацепиться за колючие кусты «держи-дерева», да топтать пропыленные заросли мелкой полыни, теперь я увидела аллеи, усаженные акациями, сосной и вечнозелеными кустарниками. Асфальт на главных улицах, цветники, бульвары и памятник Лермонтову – наконец-то! – все это было ново и радовало взгляд.

Да, все это хорошо, очень хорошо... А мне чего-то не хватает, чтобы всей душой почувствовать себя в моем, прежнем Геленджике. Чего же именно? Скудости и однообразия растительности вокруг? Торговых балаганчиков с пляжными тапочками и изделиями из ракушек? Или ателье летописца Анастаса Гунаропуло? Говорят, что человек не должен возвращаться в те места, где был счастлив. И идя по одной из асфальтированных аллей, я мысленно спрашиваю себя: значит, ты была счастлива здесь тогда, более тридцати лет назад? И, не колеблясь, отвечаю: да, конечно! Была молодость, было здоровье, была молодая жажда жизни, пытливость, неутомимые и неутолимые искания... Было раскрытое сердце, кипящая от впечатлений и мыслей голова... И наконец были милые люди вокруг. А раз было все это, – память воспроизводит даже грустные минуты такими просветленными и ясными, что думать о них можно только с улыбкой.

Направляюсь в музей – он помещается на той же улице, что и раньше, только несколько ближе к выезду из города. Меня

ожидает приветливая встреча. Казалось, небольшой персонал музея заранее готов помочь мне в поисках... чего? – это было Геленджику пока неизвестно.

Рассказываю историю письма, моей работы над ним, ленинградского продолжения этой истории. Убеждаюсь, как заинтересованы работники музея всем, что я им сообщаю, и с какой горечью они принуждены сразу же разочаровать меня: во время войны музей был подготовлен к эвакуации, все его экспонаты и архив свезли в какую-то дачу, откуда и предстояло увезти их. События, однако, развернулись так быстро, что эвакуировать ничего не удалось, а в той же даче была размещена военная часть, которая и простояла там чуть ли не до 1945 года (точно сроков не помню). Когда по окончании войны музей стали восстанавливать, в помещении дачи нашли жалкие остатки музейного имущества. Время гибели его установить не удалось. Ведь после ухода военной части имущество какое-то время снова оставалось безнадзорным. И з а р х и в а н е у ц е л е л о н и ч е г о . Все, что имеется в музее в настоящее время, – это позднейшие приобретения. Все бумаги и документы заинвентаризированы, мне предоставят возможность просмотреть инвентарные книги и убедиться в этом.

Хранитель фондов и архива музея – Дмитрий Евграфович Щеглов – хорошо помнит и Красина и Никифора. Об интересующей меня рукописи от Красина не слышал, во всяком случае разговора о ней не припоминает. (Оно, пожалуй, понятно: покойному В. И. Красину в этом деле похвалиться было нечем!). Большое участие в разговоре и обсуждении моей истории принимает также Александр Александрович Денисов, недавний работник музея. Уж не говоря о директоре музея Александре Аветисовне Колесниковой: она выражает готовность во всем содействовать моим поискам. Должна отметить ее строго-критическое отношение к тем источникам, из которых на меня

сыпались различные сведения в течение моего недельного пребывания в Геленджике. Она этим очень помогла мне разобратся в материале.

Но что же делать дальше? Куда направить поиски, когда на моих глазах рвутся последние нити, исчезают последние надежды обнаружить следы рукописи?

Я продолжаю расспрашивать сотрудников музея и узнаю, что преемником Красина был некий Иван Иванович Аханов. Он много сделал для расширения и процветания музея, был большим любителем и собирателем старинных документов и писем. У него накопился интереснейший личный архив. В 1941 году он ушел в армию, воевал, по окончании войны вернулся больной, слабый и вскоре умер.

А его архив? Что случилось с его архивом? Не могло ли случайно попасть туда «мое» письмо, как, по-видимому, попали мои фотоснимки и рукописная копия – в архив Б. И. Коплана?

Судьба ахановского архива не совсем выяснена: то ли Аханов при жизни сам передал его куда-то, то ли это сделано впоследствии его вдовой. Она живет и в настоящее время где-то в Новороссийске, но адрес... адреса в музее никто не знает...

И вдруг на меня пахнуло прежним Геленджиком, милым, немножко забавным Геленджиком моей первой поездки: сотрудники музея, собравшись в комнате, стали оживленно обсуждать, как выяснить для меня адрес Ахановой. У нее здесь есть приятельница – старшая продавщица в кооперативе.

– Знаете, это который тут на самом углу, недалеко от почты и телеграфа?

– Ах, это такая худенькая блондиночка?

– Да бог с зами, ну какая она худенькая блондиночка, она рыжеволосая и вот такая... – руки говорящего расходятся в стороны так широко, что заподозрить приятельницу Ахановой в худобе абсолютно невозможно.

Разговор об «особых приметах» старшей продавщицы углового кооператива прерывается лаконичным заключением директора музея:

– Все ясно, – говорит она, обращаясь к сотруднику, наиболее осведомленному о внешности старшей работницы прилавка. – Вот вы и прошли бы сейчас в кооператив, а наша гостья подождет вас здесь. Только поторопитесь, скоро перерыв на обед, магазин закроют!

Сотрудник уходит, а я, пользуясь освободившимся временем, сажусь за его стол и привожу в порядок мои новые записи. Проходит минут пятнадцать – двадцать, не более. Адрес доставлен. Он необыкновенен, как все, что случается со мной в Геленджике: Новороссийск, Восьмая щель... ну, дальше уж банальный стандарт – указание улицы и номера дома.

Я решаю завтра же ехать в Восьмую щель, ведь до Новороссийска всего сорок два километра такой прекрасной дороги! – прощаюсь с сотрудниками музея и благодарю их за внимание и помощь. В ответ на это весь персонал просит меня ставить их в известность о дальнейшем ходе моих поисков.

Когда я сообщаю моей гостеприимной хозяйке, что завтра с утра поеду в Новороссийск, она начинает метаться по кухне: как же так? Она ничего не успеет приготовить мне...

Утром она сует-таки в мой портфель бутерброды «на всякий случай» и провожает меня на автостанцию, где кроме автобусной находится и стоянка такси. Когда мы приближаемся к платформочке для ожидающих, туда как раз подъезжает свободная легковая машина.

Ольга Болеславовна кричит мне на прощанье:

– Желаю успехов в лермонтовских делах!

Мы круто сворачиваем на шоссе. Водитель такси – совсем молодой паренек, приветливый, улыбающийся. Перебросившись со мной несколькими словами о погоде, узнав, давно ли

я приехала в Геленджик и бывала ли здесь раньше, он спрашивает:

– Я, извиняюсь, слышал, как вам ваша знакомая успехов пожелала... А вы что, по делам Михаила Юрьевича Лермонтова к нам приехали?

«По делам Михаила Юрьевича Лермонтова» – звучит необычно, но, если вдуматься, то по существу правильно. Мне приходится подтвердить догадку моего водителя, и я даже уточняю:

– По вопросу о некоторых подробностях его дуэли.

– Да, печальная была история, – сочувственно отзывается он, как будто сам был очевидцем трагической гибели поэта.

После минуты молчания я слышу новый вопрос:

– А творчеством его вы тоже интересуетесь? Или только биографией?

Я снова подтверждаю: интересуюсь и творчеством.

– Очень рад, что приходится разговаривать, так сказать, со специалистом по данному вопросу, – явно щеголяя своей речью, продолжает водитель. – Уж раз такой случай представился, разрешите мне задать вопрос: не кажется ли вам, что Лермонтов написал много лишнего?

Час от часу не легче! Я интересуюсь, что, к примеру, он считает «лишним» в поэзии Лермонтова?

– А вот, например, в «Демоне». Поэма замечательная. И все там обдуманно и к месту. И вдруг –

*На возду́шном океане*

*Бéз руля и бéз ветри́л...–*

отбивая такт хорей, скандирует он. – Что тут к чему – не поймешь. И какое это имеет отношение к роману между Демоном и Тамарой – тоже неясно. Я много думал об этом и решил, что, может быть, это мне понятнее будет в музыке. Знаете, конеч-

но, оперу Антона Григорьевича Рубинштейна? Тоже «Демон» называется... Ну вот, купил я пластинку с этой арией – дома у меня патефон имеется, – завел. Ну что ты будешь делать! – и музыка тоже какая-то дикая...

*На воздушном океане...–*

жиденьким баритоном пытается он воспроизвести начало арии...

Узнаю тебя, мой Геленджик! Ты не перестаешь ошеломлять меня удивительными в своей неожиданности ситуациями!

Я так растерялась от столь внезапного поворота лермонтовской проблемы, что сразу не нахожу ни доводов, ни слов для популярного изложения моей точки зрения на упомянутое «излишество» поэта. Очевидно, я говорю что-то невразумительное, потому что мой собеседник хмурит брови и морщит лоб, силясь понять меня.

– Неубедительно, – лаконично заключает он. – Как хотите, товарищ специалист, неубедительно!

Мне остается только развести руками: я и сама понимаю, что неубедительно.

За этими разговорами незаметно проходит большая часть дороги. Мы въезжаем в Новороссийск.

– По какому адресу вас доставить? – спрашивает паренек.

Погоди, – думаю я, – сейчас я скажу тебе «убедительно»!

И самым будничным тоном отвечаю:

– Щель номер восемь.

Водитель даже притормаживает такси и искоса бросает на меня испуганный взгляд.

– Как? – переспрашивает он. – Я осведомился по какому адресу вести машину.

– Ну, а я вам ответила: в щель номер восемь.

Он совсем останавливает машину.

– Ну, а я не понимаю, – в тон мне отвечает он. – Я в Новороссийске чуть не каждый день бываю, это мой рейс. Но по щелям ездить еще не приходилось.

Я молча вынимаю из портфеля клочок бумажки с написанным на нем адресом и подаю водителю. Он так же молча читает, ненадолго задумывается, потом включает скорость и тоном «пропадать так пропадать!» – говорит:

– Ну что ж, искать так искать! Еще не бывало, чтоб я чего-то не нашел! И опять же, мы с вами историческое дело делаем!

Ну еще бы!

Но ведь поиски Восьмой щели надо с чего-то начинать! Молодой водитель теряет свою самоуверенность и искательно спрашивает меня:

– А вы, бабушка, хоть приблизительно не знаете, в какую это будет сторону?

Ага, я уже «бабушка», а не «товарищ специалист»! Лишнее напоминание о быстротекущем времени: тридцать три года назад только Феб и соседские ребятишки признавали во мне «тетю», а теперь водитель такси безо всяких обиняков приводит меня в «бабушки»!

Я отвечаю ему, что знаю здешние нумерованные щели не лучше, чем он, но что по моим соображениям они должны быть где-то в верхней части города, в предгорьях: «щели» – это те же ущелья. Он кивает головой в знак согласия с моими доводами, и мы поворачиваем к горам.

Отъехав от центра города на порядочное расстояние, мы пытаемся спрашивать встречных, в какой стороне находится нужная нам щель. Очень скоро показания местных жителей начинают путаться: в общем человек пять указывают нам различные направления.

И вот мы окончательно сбиты с толку и не понимаем, куда нас занесло. Мы выезжаем на пригородный перекресток, где

колеса машины кружат по буеракам, поднимая вокруг клубы пыли. Город остается где-то внизу. Около маленького ларька или балаганчика, похожего на те, где продают керосин, стоит большая очередь. Я прошу водителя выйти из машины и расспросить людей о нужном нам адресе.

– Товарищ специалист, – отвечает он, взглянув на меня скептически, – мы спрашивали уже пятерых, и все они дали нам разные указания. А тут посмотрите, сколько их! Если они все будут говорить по-разному, сколько же мы будем кататься!

Логика железная, надо отдать справедливость! И все же я прошу его сделать попытку.

Он подходит к очереди, женщины обступают его, и скоро он возвращается с ответом:

– Они говорят, что вам дали неправильный адрес: в Восьмой щели частных и квартирных домов нету.

Я выхожу из машины и направляюсь к очереди сама. После долгих расспросов выясняется, что частные постройки там все же есть, но их очень немного. Одна из женщин, худошавая немолодая блондинка с изможденным грустным лицом, подходит к нам совсем близко и спрашивает, какой точный адрес у нас по Восьмой щели. Выслушав мой ответ, она говорит:

– Так это же мой домик, я – Аханова.

Да, необыкновенные эпизоды моей истории все еще не кончатся!

Мы отходим с ней в сторону, и я излагаю ей суть дела. Ее ответ не радует меня: передавал ли ее муж что-либо и куда-либо из своего архива при жизни – она не знает. Она никогда не вмешивалась в его дела. Возможно, что и передавал и продавал, у них пятеро детей, семья очень нуждалась особенно во время его последней болезни. Сама же она после его смерти отдала все, что нашла у него, в Новороссийский музей. Туда

и следует обращаться. Но, кстати сказать, у нее в руках такого письма не было.

Разговор исчерпан. Остается поблагодарить ее за сведения и ехать в музей, – на этот раз в Новороссийский.

Рано же я поднялась сегодня! Мы проделали путь от Геленджика до Новороссийска, да здесь колесили по буеракам столько времени, а я после этого попадаю к зданию музея чуть ли не за час до его открытия!

Я расплачиваюсь с моим водителем, изрядно прибавив ему против суммы, накрученной счетчиком, – исключительно за энтузиазм, настойчивость и литературные интересы! – и иду по улице Советов в поисках какого-нибудь кафе. Ни одно кафе еще не открыто. Остается сесть на скамейку бульвара и вытащить из портфеля бутерброды. Хочется пить, но киоски с водами и соками тоже еще закрыты. С тоской гляжу на стрелки ручных часов: они медленно подвигаются!

Наконец я вижу, что в открытые двери музея входит группа пионеров с классной руководительницей. Я вхожу за ними в вестибюль и говорю дежурному экскурсоводу, что приехала поговорить по одному литературному делу со старшими сотрудниками музея. Меня немедленно же проводят в кабинет директора – Е. М. Засыпкиной.

Стол директора завален бумагами. Вокруг столпилось несколько сотрудниц, каждая из которых хочет немедленно же получить консультацию, распоряжение или ответ на заданный вопрос. Каким-то образом успев в несколько минут дать всем требуемые разъяснения и указания, Е. М. Засыпкина внимательно выслушивает меня. Я не вдаюсь в подробности, а просто говорю ей, что в моих литературных поисках мне необходимо просмотреть архив покойного директора Геленджикского музея И. И. Аханова, и, по моим сведениям, этот архив находится здесь, в фондах.

Одна из сотрудниц, без слов поняв взгляд директора, мчит-ся за заведующей фондами, а Е. М. Засыпкина распоряжается ей вдогонку:

– И пусть захватит с собой архив Аханова!

Я удивлена: «захватит с собой архив»? Может быть, опись архива?

Через несколько минут в кабинет входит заведующая фондами с небольшой связкой бумаг и папок под мышкой. Это и есть «архив Аханова»?

Директор знакомит нас, извиняется, что не сможет заняться со мной сама, и передает меня на попечение заведующей фондами – Татьяны Борисовны Маевой, предоставив нам в своем кабинете небольшой столик для документов и рукописей.

И здесь, в Новороссийске, я опять встречаю то же сочувствие и желание помочь моим поискам. Я подробно излагаю всю историю моей геленджикской находки. Говорю, что мои розыски привели меня сюда с последней надеждой, не найдется ли это письмо в архиве Аханова. Если не в оригинале, то, может быть, в цитатах, введенных в одну из его работ или лекций.

Т. Б. Маева, прекрасно знающая фонды музея, сразу же отвечает мне, что такого письма в переданном ей архиве Аханова нет. Что же касается цитат из него, я сама могу просмотреть все материалы, – может быть, мне что-то и удастся обнаружить, но ей кажется, что такие замечательные строки она запомнила бы.

– Неужели же это весь архив Аханова? – с недоумением спрашиваю я, указывая на связку бумаг, принесенную Маевой.

– Ну, ответить вам, весь ли тут архив, я не берусь, – говорит она. – Я могу ручаться только за то, что здесь все, переданное его вдовой в наш музей. А было ли в архиве еще что-нибудь и сколько еще было – этого я не знаю. Вот описи. Просмотрите. А я постараюсь помочь вам.

В папках заключалась машинопись ряда статей и лекций Аханова с правками, сделанными его рукой. Большинство материалов посвящено флоре и фауне края, есть статьи по истории города. Т. Б. Маева выбирает из всей пачки несколько сшитых тетрадей и рекомендует мне просмотреть их особенно внимательно, ибо в этих статьях он касается писателей, так или иначе связанных с Геленджиком и даже с Кавказом вообще. Я просматриваю все из страницы в страницу. Там много говорится о Марлинском, о Льве Толстом, о Короленко. О Лермонтове нет ни слова – а странно: ведь Геленджик до сих пор полон легенд о том, что Лермонтов жил некоторое время в его укреплении и даже оставил свой автограф на одной из стен, который, якобы, помнят старожилы. Это я слышала от нескольких лиц. Правда, никаких документальных данных об этом нет, а в «Тамани» Лермонтов упоминает только: 1) «Завтра отправляюсь в Геленджик», 2) «Я отправился в крепость Фанагорию, чтобы узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик» и 3) «Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань». И все же удивительно, что, уделяя столько места другим писателям, Аханов обошел такое имя, как Лермонтов! Не было ли у него работы, специально посвященной поэту? Может быть, если не уцелело письмо, нашлись бы цитаты из него? Это было бы тоже очень ценно! Но была ли такая работа? А если была, то куда она передана или продана? Его вдова явно отгораживалась от этого дела и отослала меня сюда, в музей...

С такими мыслями, поблагодарив хозяек Новороссийского музея, я возвратилась в Геленджик. В ближайшие же два дня я побывала в отделе культуры Горисполкома, беседовала со многими старожилыми, с пионерами – и была поражена, с каким вниманием все, к кому я ни обращалась, независимо от возраста, той или иной степени культуры или социального положения,

горячо откликались на мой рассказ. То, за чем я приехала, становилось общим делом, общей заботой, оно принадлежало всем!

Особенно порадовали меня беседы со старожилками. Когда я стала читать им мою запись письма, послышались голоса:

– А вы забыли одну подробность: когда солдат согласился покрыть лицо Лермонтова платком, автор пишет: «Я дал ему целковый».

– А вы помните, там было сказано, что часовой еще ответил проезжавшему: «Пушай лежит, а вы не трожьте?»

И наконец:

– А мне помнится, что там было не «лицо и одежда в грязи» и не «у него лицо все в грязи, возьми платок, вытри грязь», а «над телом роем носились мухи», а дальше – «возьми мой платок, смахни эту нечисть, покрой его лицо»!

Я сразу ухватилась за эту соломинку:

– Откуда вы знаете это? Значит, вы читали это письмо? Где? Когда? Как вы меня обрадовали!

Двое или трое из старожилков сказали, что они слышали это письмо на лекции И. И. Аханова, а лекции он читал часто и в музее, и в школах, и в здравницах. Говорил он хорошо, его лекции посещались охотно. На одной из них он читал это письмо, только они не помнят (а может быть и не знают?), читал ли он его целиком или только цитировал.

Итак, письмо утеряно не при Красине и не при обстоятельствах, предшествовавших его смерти, – оно было в руках Аханова, и он делился его содержанием со своими слушателями. Директором он был до войны, потом ушел в армию, воевал, а за это время... За это время была неудавшаяся эвакуация – и все могло случиться!

Найти хоть бы конспект этой лекции! Хоть цитаты из письма!

Между тем приближается время моего отъезда: дольше недели я не могу задерживаться в Геленджике. Что же дала мне эта вторая поездка?

Если подходить строго, то есть, расценивая ее по той цели, с которой я предприняла ее, – ничего. Ничего, если не считать тех устных сведений, которые я получила в разговоре с местными старожилами. Но они всего-навсего более точно фиксировали время исчезновения (а, может быть, и гибели?) письма на голубой бумаге: военные годы. Что же касается добавлений и исправлений, внесенных в его текст моими собеседниками, то тут нужно еще очень строго разобраться. Может быть, действительно, мне где-то изменила память, а может быть, ошибаются старожилы. Оба добавления (эпизод с целковым и слова «пуцай лежит, а вы не трожьте») никак не противоречат тексту в целом. А вот о мухах, «роем вившихся над телом и лицом покойного» – место очень спорное. Дуэль произошла, по одним источникам, – «под вечер», по другим – после пяти часов пополудни и наконец – между шестью и семью часами вечера. Известно, что под вечер в горах разразилась гроза. В воспоминаниях Эмилии Шан-Гирей приводится рассказ Глебова о том, как он остался после дуэли у тела Лермонтова. Он говорил, что вечер был ужасный, вскоре снова начался ливень, сопровождавшийся сильными порывами ветра. Где же тут было роем виться мухам?

Но судить об этом можно только имея перед собой оригинал или полную заверенную копию письма. А ни того, ни другого нет.

И дирекция Геленджикского музея, и Е. М. Засыпкина, и зав. отделом Горисполкома Геленджика, и преподаватели литературы, с которыми мне довелось побеседовать, – все, не сговариваясь, просили меня записать историю пропавшего письма в любой форме: статьи, рассказа, развернутой информации или очерка, чтобы они могли опубликовать ее в газетах или альманахе, или же, в крайнем случае, прочитать ее на какой-нибудь открытой лекции. Мысль, разумеется, правильная: кликнуть клич. Ведь именно таким образом К. Г. Паустовский нашел свой потерянный роман «Дым Отечества».

Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем я выполнила это предложение и выслала по два экземпляра моего очерка в Геленджик и Новороссийск. Довольно скоро я получила подборку из трех номеров газеты «Новороссийский рабочий» с напечатанным в них очерком о пропавшем письме. Были ли использованы мои материалы как-нибудь еще, – не знаю.

Итак, я во второй раз покидаю Геленджик. Перед отъездом делаю попытку разыскать Трибунальную улицу и домик, где я провела лето тридцать три года назад.

Очень скоро на улице ко мне подходит совсем незнакомая уже немолодая женщина. Называет себя, не дав мне сказать ни слова, сразу же скороговоркой объясняет, что читала мою книжечку, знает о моем приезде и только не имела случая встретиться со мной. А сейчас, как только взглянула на меня, так сразу и решила: «Это она!» О себе тут же сказала, что до пенсии работала в «культурной области» и, вероятно, сможет быть мне полезной. Кажется, в этих поисках мне нужен не столько работник культуры, сколько толковый письменосец, а еще лучше – какой-нибудь смекалистый мальчишка из породы фебов, которая никогда не переводится. Но мне неловко перед моей добровольной спутницей, и мы идем.

За эти дни я уже начала разбираться в улицах, районах и кварталах города, и мне кажется, что я взяла верное направление. Нам приходится проходить мимо футбольного поля, где раньше была старая геленджикская крепость. Поле огорожено высоким сплошным забором, через который не перелезешь и сквозь который ничего не увидишь. Зато все окружающие его деревья, как стаей воробьев, усыпаны мальчишками. Крики, свистки, какие-то щелканья, веские эпитеты доносятся и с поля, и с деревьев: идет «решающий» матч.

Моя провожатая кивает в сторону поля и спрашивает, известно ли мне, что раньше здесь была крепость, в которой

останавливался Лермонтов по пути из Тамани. Услышав мой утвердительный ответ, она торжественно-грустным тоном произносит:

– Да, вот как исполнилось пророчество поэта –

*Та-та́, та-та́, та-та́, та́-та́-та́,*

*Младая будет жизнь играть! –*

Как будто сам видел!

Несмотря на мое невеселое предотъездное настроение, я все же решаюсь уточнить столь странную в окружающей обстановке цитату:

– Вы какого поэта имеете в виду?

Она взглядывает на меня снисходительно.

– Как какого? Лермонтова! О ком же мы говорим?!

Может быть, не надо? А у меня все-таки вырывается:

– Я думаю, П у ш к и н себе представлял несколько иную игру, когда писал эти строки. И думал о своей могиле:

*И пусть у гробового входа*

*Младая будет жизнь играть...*

Опять косой взгляд – на этот раз воровато-смущенный. Наступает молчание.

После первой же неудачи с расспросами встречных о Трибунальной улице моя спутница быстро взглядывает на ручные часики и начинает прощаться: она совсем забыла, что должна идти в библиотеку.

Я очень хорошо помню, что в давние времена библиотека находилась совсем близко от нашего белого домика, но не хочу больше никаких проводников и комментаторов – и сразу же прощаюсь.

Один из встречных стариков сообщает мне, что Трибунальная давно уже переименована в Приморскую.

С помощью местных жителей я нахожу домик. Нахожу – и не узнаю. Где же его нарядный, кокетливый вид? Где цветничок? Где простор перед ним и позади него? Домик обветшал, погрузнел, его стиснули соседние дома, я едва соглашаюсь признать его по нескольким едва уловимым приметам...

И наконец последнее разочарование: из прежних его хозяев жива только племянница трех милых старушек – Екатерина Николаевна, – и та уехала на две недели погостить к родным в Краснодар...

Я сижу на нашей верандочке и пишу записку отсутствующей хозяйке. А перед глазами ясно вижу мою Александру Николаевну, все семейство наших хозяев, стремительно вбегающего по лесенке Феба, слышу голосок маленькой Нинуль:

– Тетя Ака, а я пойду с тобой в твой музей? Шакальчика посмотреть, ну тетя Ака!

О Беклемишеве вспоминать не хочется... А Красин? Тот самый просто-Красин, породнивший меня с Лермонтовым и наполнивший таким богатством мою первую поездку... Одинокий, душевно незащитный Красин...

Все кажется то очень близким, то далеким, словно подернутым туманной дымкой, как будто кто-то неопытный старается отрегулировать фокус, то выдвигая, то вновь приближая объектив...

Да, вот они, годы. Обветшал домик... Но и мы все, вероятно, обветшали не меньше, – мы, те, кто еще остался в живых...

И передав соседям Екатерины Николаевны свою записочку, я печально бреду назад...

Рассказ о пропавшем письме приближается к концу. Неужели же моя находка погибла? Неужели навсегда пропало письмо, дорогое письмо моей молодости?

Да, кажется, так. А все же в глубине души я не теряю надежды: а вдруг?

Ну а если оно действительно уничтожено войной и временем?

И я думаю: что ж, погибшего не возвратишь. А вот...

Среди многочисленных рассказов современников о смерти Пушкина есть небольшой эпизод. Когда кто-то из друзей поэта вышел к толпе, собравшейся на Мойке вокруг дома умиравшего, и сказал только два слова – «Пушкин умер», – вся толпа обнажила головы. Послышались всхлипывания, рыдания... Какой-то скромно одетый немолодой человек стоял в стороне и горько плакал. Его обступили, спросили:

– Вы знали покойного?

– Нет, – ответил он, – не имел этого счастья. Но я – русский человек...

Никто не знает его имени. Никто не запомнил его в толпе. А его плач и простые слова: «Не знал, но я – русский человек», – остались бессмертными, пережив и сказавшего их, и уже не одно поколение навсегда ушедших людей.

Неизвестен и автор найденного мной письма. Время уничтожило все его следы. Самого письма нет. Но пусть останутся будущим поколениям его горькие строки, этот безымянный призыв оберегать поэзию родины, ее гордость и славу: *«Сердце, мое русское сердце обливалось кровью: второго великого поэта мы теряем так ужасно! Подумай, мы ничему не научились со смерти Пушкина!»*

С этой надеждой я заканчиваю мою повесть.

\* \* \*

Повесть «Геленджик» в сокращенном виде была опубликована в казахстанском журнале «Простор» (№ 8 за 1967 год). В октябре того же года, когда рукопись настоящей книги уже была сдана мною в издательство, я получила письмо от чита-

тельницы «Простора» – журналистки Л. Т. Бережных. Считаю его интересным в связи с тем, что оно ясно напомнило мне совсем упущенное мною место найденного в Геленджике письма, где неизвестный автор говорит о предвидении великими поэтами – Пушкиным и Лермонтовым – своей смерти и цитирует первые строки стихотворения Лермонтова «Сон» («В полдневный жар...»). Память моя воспроизвела эти строки настолько четко, что я даже вспомнила место, где они находились в рукописи: на ее третьей странице внизу.

Кроме того, Л. Т. Бережных своим свидетельством подтверждает, что это письмо существовало и после смерти Красина, при директоре Аханове. Поэтому привожу текст письма Бережных полностью.

*Уважаемая Анна Борисовна!*

*Во второй половине августа 1938 года, я девятилетняя девочка, была в Геленджике (мы отдыхали в Сочи и совершили поездку по побережью.). В моей памяти ясно запечатлелось, что я видела то письмо, о котором Вы рассказываете в своей повести «Геленджик».*

*В залах музея было полутемно – деревья закрывали окна. В меньшем зале у стены стоял стул. На нем дремала пожилая женщина-охранница, полная, повязанная платком. Что это она охраняет? – подумалось мне. И я откинула со столика, стоявшего у стены, кусок коричневой саржи. Под стеклом лежали расположенные веером лермонтовские материалы. Вероятно, экспозиция осталась после годовщины гибели поэта (15/27 июля). Под стеклом были: старое издание «Тамани», где красным карандашом были подчеркнуты строки о Геленджике, портрет поэта в бурке (очевидно, репродукция с его известного автопортрета), и, главное, голубоватые листы бумаги, на кото-*

*рых выцветшими чернилами были написаны строки, приведенные Вами, Анна Борисовна, в Вашей повести. Рядом, с письмом лежал длинный, узкий листок ватмана. На нем четким чертежным почерком тушью был написан полный текст письма. Помню, что мы с отцом вместе читали его. До этого, в 1937 году, мы отдыхали в Ессентуках и Пятигорске, и я бывала уже на месте гибели поэта, где плакала, собирала в горах лиловые бессмертники и укладывала их к подножию обелиска, Помню, что в Геленджике, читая письмо, посвященное дуэли Лермонтова, я снова плакала от мысли: вот как все это было! И отец, и охранница, дремавшая до того на стуле, утешали меня. Особенно поразили меня слова о том, что «над телом вился рой мух». И помню еще фразу: «Великие люди предчувствуют гибель свою. Вспомни: Пушкин изобразил смерть Ленского, а Лермонтов написал – «В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я...» Эта фраза врезалась мне в память, потому что я попросила отца прочесть мне эти стихи, и он прочел их прямо над витриной музея. Остальное в письме было так, как написано у Вас.*

*Помню, что в музейную комнату зашла группа раненых (незадолго до того закончились бои на озере Хасан), лечившихся в Геленджике после госпиталя. Их вел экскурсовод. Подойдя к лермонтовской витрине, он начал объяснять экскурсантам значение каждого экспоната, а потом прочел текст письма по бумажке. Я помню не все, что он говорил, но зато ясно помню лицо этого человека – его большие серые или голубые глаза, тонкие светлые волосы, стоящие над высоким лбом, небольшой рост, указку в сухощавых пальцах. Теперь, я думаю, что, вероятно, это был директор музея Аханов. Говорил он вдохновенно, приводил интересные факты из биографии поэта, но так как у меня*

*хорошо развита зрительная, а не слуховая память, то во избежание неточностей пересказывать его речь я не буду.*

*В 1946 году я отдыхала в Кабардинке. И снова посетила Геленджикский музей. Мне уже было семнадцать лет, и Лермонтов и его творчество меня интересовали по-настоящему. Но в здании музея жили люди, мне сказали, что все экспонаты вывезены в глубь страны. Геленджик лежал в развалинах, впрочем, как и вся кубанская земля. Я пережила в 42–43 годах оккупацию в Армавире, знала, что такое нашествие чужеземцев, и мне оставалось только радоваться, что дорогое моему сердцу письмо, где говорилось о Лермонтове, находится где-то за Уралом.*

*Повесть «Геленджик» убедила меня, что это не так. Буду рада, если мои воспоминания что-то дадут в отыскании этой реликвии.*

*Журналистка Л. Бережных*

*20 октября 1967 г.*

*Опубликовано: Никольская А. Б. Геленджик // Никольская А. Б. Пропавшие письма: Рассказы. – Алма-Ата: Жазушы. 1976. – С. 26–106.*

## Иннокентий Васильевич

Наконец-то, любезный доктор, вы попали в цель. А то мне казалось, что в течение двух недель моего пребывания в клинике мы с вами кружимся, как два боксера на ринге: присматриваемся и приноравливаемся, как бы улучшить минуту и кинуться друг на друга.

Я не виноват, что лечение сонной терапией проводится сейчас только в вашей привилегированной клинике психоневрологии. Я – самый обыкновенный язвенник, – язва, понимаете? Ульцуз вентрикули... на вашем языке – и ни на что больше не претендую. Я измучен моей хворью и готов избавиться от нее любыми средствами, хотя бы при содействии знахарки. Говорят – вот сонная терапия, новость медицинской науки, выключение организма. Помогает от всех сорока недугов, – отлично, пусть будет сонная терапия. Но, оказывается, назвался груздем – полезай в кузов: хочешь лечиться сонной терапией – терпи.

Беседы, беседы, беседы, вскрытие психологических конфликтов, психических травм, выпадающих звеньев каких-то. Беседы прямо по Станиславскому: сосредоточьтесь, отрешитесь, ослабьте мускулы, – начинаем.

Вот так выключение организма для сна! Одного этого достаточно, чтобы впасть в бессонницу!

Вы, доктор, в этой мистерии занимаете позицию, среднюю между духовником и следователем. А мне ни то ни другое не нужно. У меня просто изжога.

В довершение всех напастей вы предложили мне написать мою автобиографию, то есть, судя по продиктованным вами обязательным пунктам ее, раздеться перед вами. Я отказался.

Вы возликовали: вот оно, вот где собака-то зарыта, он, мол, от меня замыкается, упорствует.

Никакой собаки там не зарыто, доктор. Вы сказали, что в качестве пациента вашей клиники я могу и даже должен быть всегда предельно свободен с вами. С меня, мол, не взыщется ни за какие проявления раздетого подопытного объекта. Полная индульгенция в кредит, даже если бы я вздумал драться с вами или ругать вас наиболее художественными оборотами родной речи. Это мне трудно, я привык быть учтивым с окружающими. Да и не тянет меня ругаться. Но откровенным сейчас быть постараюсь, хотя бы эта откровенность и кольнула вас не совсем приятным образом.

Я не замыкаюсь. И, если хотите, мне скрывать нечего, вернее нет желания как-то загримироваться, что-то прятать, чего-то стыдиться. Что было – того не вычеркнешь. Но быть откровенным... Вопрос – с кем? – Только с тем, кто поймет. А вы, любезный доктор, ничего не поймете. Вот и выходит, что я не замыкаюсь, а ставлю на откровенность высокую пробу. Это вам не базарный ширпотреб. Да и вообще я против проституции.

И вдруг вас осенило. Вы вызвали меня на очередную беседу и сказали: – «Хорошо, не пишите автобиографии. Пишите, что хотите. Даю вам полную свободу».

Вы попали в цель, доктор, и в моих глазах это **вашу** пробу сильно повысило. Я уж не говорю о том, что предложить литератору, даже такому миниатюрному, как я, писать «что он хочет» – все равно, что поставить перед алкоголиком бутылку и рюмку. А ведь ваш ход много тоньше, я вижу ваше лицо сквозь грани бутылки. Мы с вами, доктор, стоим один другого. И теперь мне даже нравится мое положение психоневрологического больного. Удобный плащ, что ни говори! Трещетку в руки, бубенчики на колпак – дорогу шуту его величества! Что с него спросишь?

Итак, вы предложили мне лечение изжоги эпистолярной литературой. Отчего бы и нет? Ведь лечила же псковская старуха-ворожея от испуга восковыми шариками!

И все-таки вы застали меня врасплох, доктор. Тема у меня до конца не разработана, многое в ней мне еще неясно самому. Однако попробую, хотя бы и в «сыром виде». Уж простите за болтливость – сами запросились! «Ослабьте мускулы, отрешитесь, начинаем!»

Начинаем, любезный доктор!

Вы замечали, как много значит цвет абажура? Попробуйте сменить у себя в кабинете несколько абажуров разных цветов – и вы не замедлите в этом убедиться. Ваше жилище то наполнится тревожным напряжением – от красного абажура; то впадет в холодное безразличие от голубого; то вызовет в вас ощущение смутной тоски или упадочного эстетства – от сиреневого; то взбудоражит чуть ли не животным приливом энергии – от оранжевого; то заулыбается каждым уголком, точно по нему скользнул солнечный луч, – от светло-желтого или розоватого.

...В комнате на настольной лампе был ярко-зеленый абажур. Он не успокаивал глаза, но и не будил энергии. Он, казалось, отравлял окружающее.

Правда, зона его действия была не так уж велика; письменный стол, кресло, этажерка-вертушка со справочной литературой, стенная полка, несколько картин на стене, ближайший к столу край ковра на паркете, – дальше комната стояла погруженной в зеленоватый мрак, где очертания предметов растворялись в нем: комната могла быть бесконечной и могла кончаться тут же, сразу за ребром шкафа, стоящего у стенки позади кресла.

Не от него ли, этого ядовитого цвета, хозяин комнаты казался таким изможденным и высохшим? Вот его продолговатая, с сильной проседью голова склонилась над книгой,

длинные сухие пальцы с шишковатыми суставами замерли на раскрытой странице. Веки почерневшими клочками пергаменты полуприкрыли глаза. Пусть эти глаза так и остаются опущенными, ибо когда они поднимаются, вам становится жутко от их почти бесцветной пустоты. Как можно смотреть и видеть таким опустошенным взглядом! А он и смотрел, и видел. Вот уж истинный хозяин своего кабинета, погруженного в зеленый полумрак!

Я бывал в этой комнате, доктор. Не думайте, что все написанное мной, – полумистическая фантазия вашего пациента. Эта комната находится в самой обыкновенной квартире самого обыкновенного ленинградского дома. И вход туда самый обыкновенный: проходите через ворота во двор налево, поднимитесь по «черной» лестнице три этажа – и вы у цели. Есть и «парадный» вход, но он уже давно заколочен, чуть ли не с первых лет революции, и через него никто не ходит. Видите, как все обыденно.

Но ведь должны же вы были когда-нибудь чувствовать, доктор, особенно вечером, когда городские многоэтажные громадины вспыхивают в темноте улиц рядами освещенных окон, что каждый такой огонек – это отдельная человеческая жизнь, целое бытие человека со всеми его особенностями, с его характером, привычками, вкусами, с раздумьями бессонных ночей, мечтами, дерзновениями и ужасом падений? И неужели взгляд, который вам приходилось бросать на жилище незнакомого человека, никогда не казался вам первой ступенью знакомства с самим его обитателем?

Итак, я бывал в этой комнате, полной тонких противоречий, создавших своей совокупностью своеобразный ансамбль, в который хотелось вглядываться, как в старинную криптографическую рукопись, где каждый знак полон скрытого значения.

На темной стене такая же темная доска старинной иконы – взятие пророка Илии на небо. Издали видны только пламенная киноварь колесницы и огромный огненный язык плаща Илии, летящий вниз к поверженному на земле Елисею. Под иконой на этажерке – бронзовый многорукий божок. Дальше – палисандровая тумбочка, покрытая ветхой шелковой тканью с тончайшим золотым шитьем – мусульманским изображением вселенной, а на ней – двуликий Янус, отлитый из лавы, с застывшей на губах улыбкой. Тут же какой-то древний светильник, при виде которого так и вспоминается евангельская притча о мудрых и неразумных делах. Над светильником на стене – маленькое древнерусское медное клеймо с изображением святой княгини Анны Кашинской. «Анна Кашинская»... да, тут сложная история! Эта княгиня, жившая на переломе XIII и XIV веков, так прославилась у кашинцев и тверичан своею жизнью, благочестием, благотворительностью и кротостью, что в 1649-м году собор в Москве причислил ее к лику святых. Сам царь Алексей Михайлович принял участие в торжественном богослужении по этому поводу. Но святая княгиня не сумела после своей смерти «закамуфлироваться», то есть стать православной: все иконы изображали ее с рукою, сложенной для двуперстного крестного знамения (как крестились «староверы» в отличие от «православных»)¹. Старообрядцы взяли этот факт на вооружение: как же, ведь канонизированная святая! – И в 1677-м году так называемый «Малый Собор» запретил службы и молебны Анне Кашин-

---

¹ Старообрядцы крестятся двумя пальцами, собирая остальные три «в пучок» на уровне ладони. Православные же крестятся тремя пальцами («щепотью»), как в насмешку говорят старообрядцы, то есть «щепоткой», а два прижимают к нижней части ладони. (Примечание автора).

ской, придравшись к каким-то разногласиям в письменных источниках ее жития.

В начале нашего XX века посыпались ходатайства о восстановлении ее в лике святых. Воспротивился всесильный Победоносцев, бывший тогда обер-прокурором святейшего синода: как? подавать повод торжеству еретиков! И только после его смерти, уже в 1908-м году, святейший синод дал свое соизволение на восстановление святости Анны Кашинской. Следовательно, при жизни – чтимая, по смерти преподобная и 230 лет мученица...

Рядом с нею стенной календарь с Лениным в медальоне, окруженном советскими лозунгами последнего года, а еще дальше – литография с портрета Талейрана. Надо всем этим – небольшая цветная репродукция картины Новоскольцева «Последние минуты митрополита Филиппа» (Малюта врывается в келью митрополита).

На вертушке со справочной литературой, на столе, на полке, в шкафах книги, книги, книги. В шкафах – система, а на столе и на вертушке – «История» Покровского, Маркс, Энгельс, библиографические справочники, старинное славянское Евангелие в кожаном переплете, солидные тома по юриспруденции, Ленин, Сталин, комплект журнала «Безбожник», закапанный воском псалтырь, вестник КИПСС (Комиссия по изучению Производительных Сил СССР), Владимир Соловьев, какие-то канцелярские папки с ненадписанными ярлыками, Метерлинк, Сибирская летопись, ящички с картотекой, «Успех» Фейхтвангера, томик Лескова, «Проблема формы в готике» Верингера. Скажете хаос? А вы подумайте!

Наконец хозяин комнаты поднял на меня глаза, но рука его так и осталась на раскрытой странице.

– Читаете, Иннокентий Васильевич? – кивнул я головой в сторону книги. — Чем увлеклись?

– Леонид Анд’еев, – мягко картавя, ответил он. И голос у него был мягкий, глуховатый, точно говорил под сурдину.

Я удивленно поднял брови.

– Что это вам вздумалось? У вас, кажется, скоро доклад по библиографированию якутских материалов? И вдруг – Леонид Андреев!

Он откинулся на спинку кресла и опять, полуприкрыв глаза, словно подавленный непреодолимой усталостью.

– Так... Случайность...

Я взял один из журналов, лежавших на столе, и начал перелистывать его. Иннокентий Васильевич продолжал сидеть, бессильно откинувшись в кресло. Мы молчали так долго, а журнал увел меня так далеко от предшествующей беседы, что я даже слегка вздрогнул, услышав голос моего собеседника:

– То есть как ’аз не случайность...

Его долгое молчание, казалось, было гигантской запятой, отделившей эти слова от прерванной беседы. Он показался мне странно встревоженным, чем-то взволнованным.

Я насторожился: за несколько лет знакомства с ним я узнал, что этот стиснувшийся в себе человек бывал способен – правда, чрезвычайно редко, – вдруг открываться с неврастенической поспешностью женщины, обиженным тоном выкладывающей что-то свое, почти непонятное сквозь вуаль намеков и недоговорок, что-то жалкое, как сбивчивое самооправдание перед невидимым обвинителем. Я не ошибся: Иннокентий Васильевич сделал неожиданный вольт: вздохнув, он неожиданно спросил меня:

– Вы задумывались когда-нибудь, как люди дают друг другу клички? Не просто клички, а психологически?

Поняв мое молчание не то как размышления о том, как лучше и деликатнее оформить и выразить свою мысль, не то как недостаточное внимание к его вопросу, он сделал новый крутой поворот, как бы стиравший все замысловатые, извилистые линии намеков и «подходов» к основному мучившему его предмету разговора, и пошел прямым ходом, введя в игру ферзя занозившей его мысли:

– А **мои** клички вы знаете? У меня ведь их несколько...

Я пристально посмотрел на него. Да, конечно, я знал прозвища, неотступно сопровождавшие этого человека в его осторожном жизненном пути, округло и тонко огибавшем все острые углы и, казалось бы, неизбежные резкие конфликты. Макиавелли, Талейран, двуликий Янус... А за последнее время – даже... Иннокентий Искарот.

– Не стесняйтесь, – перебил он мои мысли. – Я же вижу, что знаете. Да, не очень лестный ассортимент подобрали мне друзья! Но в конце концов, каждый видит ближнего по-своему!.. А с другой стороны – кто не терпел клеветы! Ведь если разобраться в тех символах, в которые в нашем обиходе обратились те или иные имена или лица, так и здесь многих оклеветал человек. Янус, например. Сатурн, в благодарность за гостеприимство, наделил его божественным даром одинаково созерцать и прошлое, и будущее. Человек в своей склонности к конкретному отображению отвлеченного изобразил Януса с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны, а затем оклеветал его специфичностью понятия «двуликий Янус», – как видите, он даже не протестует, смирился. Что же после этого делать нам, грешным?

Я продолжал выжидающе молчать. Иннокентий Васильевич усмехнулся – рот его, скрытый темными подстриженными усами, переходящими в небольшую острую бородку, кривился

от улыбки и протянул мне книжку, которую только что напряженно рассматривал.

Я взял книгу. Это действительно был томик Леонида Андреева в дешевеньком издании приложений к «Ниве», переплетенный в простой, потрепанный пестрый картон. На титульном листе стояла «дарственная» надпись: «Иуде о Иуде».

Я озадаченно взглянул на Иннокентия Васильевича.

– Это еще не все, – как будто ответил он на мое удивление. – Найдите-ка соответствующий рассказ и попробуйте там.

Я раскрыл рассказ «Иуда Искариот» и с первых же его страниц убедился, что кто-то тщательнейшим образом подчеркнул в нем ряд строк, а иногда целые абзацы. При соединении подчеркнутого получалось любопытное целое, и внутренне я не мог не констатировать едкого остроумия и наблюдательности анонимного глоссатора.

«Он думает что-то свое и в дом влезает тихо, как скорпион»...

...«Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда – дурной человек, и не хочет бог потомства от Иуды»...

...«Он был худощавого, хорошего роста... и достаточно крепок силою... но зачем-то притворялся хилым и болезненным, и голос имел переменчивый»...

...«Двоилось также и лицо Иуды»...

...«А Иуда сел и тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то что у него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыхается, а стоя у края пропасти, испытывает и едва удерживается от глупого желания броситься вниз. И многое другое безбожно выдумывал он, как будто не понимая, что болезни приходят к человеку не случайно, а рождаются от несоответствия поступков его с заветами «Предвечного»...

...«Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем»... Цитаты не ограничивались чисто внешними параллелями: были подчеркнуты все места, где разбирается темная психологическая подоплека «всему чужого, как сама судьба», неотступно, с какой-то садистической влюбленностью сопровождающего свою жертву от одной пытки к другой. Самая большая выдержка говорила о страшной смерти Иуды, «всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался он над Иерусалимом, и ветер поворачивал его то к городу лицом, то к пустыне, точно и городу, и пустыне хотел он показать Иуду»...

На полях тем же почерком, что и надпись на титуле, было приписано: «...И говорил он так, как будто тяжело ему было двигать языком во рту, и слова из него исходили с трудом, недоговоренные, как у косноязычного. И жаловался Иуда и повторял, что умрет от рака языка, как умерла его мать...»

– Добросовестная работа, – покачал я головой. Есть у вас какие-нибудь догадки, кому вы обязаны таким вниманием?

Иннокентий Васильевич отрицательно покачал головой.

– Кому – не имею понятия, а по поводу чего – могу предполагать. Но только... не так, не так, боже мой, не виноват я! Разве моя вина, если люди сами меня не слушаются? – вдруг с каким-то надрывом закончил он и закрыл глаза. Мое положение было не из приятных: успокаивать? полемизировать с анонимом? Это было бы более, чем глупо!

– А-а, все равно! – вдруг махнул рукой Иннокентий Васильевич. – Многим богу грешен, и на том свете, разберутся, что истина, а что мусор. Вот дайте-ка сюда книжку!

Он быстро перелистал несколько страниц и прочел:

– «Когда дует сильный ветер, он поднимает сор. И глупые люди смотрят на сор и говорят: вот ветер! А это только сор, мой добрый Фома, ослиный помет, растоптанный ногами! Вот

встретил он стену и тихо лег у подножия ее, а ветер летит дальше, ветер летит дальше, мой добрый Фома!»

Иннокентий Васильевич бросил книжку на стол и болезненно поежился.

– Вот именно, – резюмирующим тоном сказал он. – Вашим добром вам же челом! Жаль только, что прислали все это сюда, домой: испортили вечер! Уж лучше бы на службу! Там все равно неприятности. Одной больше, одной меньше...

Это был странный вечер недомолвок, полупризнаний, намеков, какого-то словесного кружения вокруг главного, невысказанного. Я никогда еще не видел Иннокентия Васильевича таким выбитым из колеи и глубоко потрясенным. Его нервировал каждый стук или голос в соседнем помещении, малейший скрип двери. Мне очень хотелось уйти, мне было не по себе в этом зеленом полумраке, где каждый предмет начинал казаться тоже чем-то недосказанным и недораскрытым. Я устал, физически устал от застывших улыбок Януса и Талейрана, не спускавших взгляда со своего живого тезки, не польщенного, а раздавленного сравнением с ними. Но я сам точно окаменел и чувствовал, что уйти сейчас – значило бы смертельно обидеть моего собеседника, цыплявшегося за мое присутствие. Я не мог понять, что толкало его на такую полуисповедь мне – мне, с которым у него были очень хорошие, но отнюдь не близкие отношения. Ведь не в свидетели же перед невидимым судьей он призывал меня, черт возьми?! Я чужд мистике, но мне было не по себе, и, помимо своей воли, я ощущал брезгливое чувство к этому странному человеку. Я откровенно обрадовался, когда в комнату вошла Ольга Федоровна – он никогда не называл ее женой, хотя ни для кого не было тайной, что они жили совместно не один десяток лет, сойдясь еще до революции. Ольга Федоровна пригласила к чаю, я воспользовался этой минутой и простился под каким-то благовидным предлогом.

Я отступлю ненадолго от моего рассказа. Скажите, доктор, случалось ли вам видеть какую-нибудь легкую – ну, скажем, тюлевую или кисейную занавесочку? Какие впечатления или воспоминания вызывала она у вас? За мое короткое, но близкое знакомство с вами я уже знаю ваш ответ: «никаких».

А во мне такая занавесочка пробуждает очень много разных чувств: тут и детство вспомнишь, и дальний запах моря, и маленький садик, отгороженный штакетником... На дворе прошел дождь. Дождь – теплый, летний – кончился, но гулять не пускают: сыро, простудишься... А озорной ветер поднимает занавесочку, она трепещет, вздувается: дыши, дыши, на дворе весна, жизнь, полная своего дыхания, – наслаждайся!

Я писал тогда объемистую повесть. В городе сидеть в такое время не хотелось, и я поехал на дачу к брату в один из пригородов Ленинграда. Вы, доктор, ленинградец, вам объяснять нечего: я жил на островах, и тот остров, где было жилище моего брата, еще не имел улиц. Сад? И да, и нет: это была сплошная аллея, в которой, как грибочки в лесу, стояли крохотные дачки. Для моей работы это было самое подходящее место.

Окно было раскрыто. На нем висела занавесочка на уровне моей головы, чтобы не глазели на меня случайные прохожие.

В двери раздался стук. Я откликнулся не совсем приветливо (перебили работу):

– Войдите!

Дверь распахнулась. Я оглянулся: на пороге стоял Иннокентий Васильевич. Несмотря на прерванную работу, я обрадовался: он всего второй раз пришел ко мне сам, предпочитая встречаться со мной или на улице, или в учреждениях по месту работы, или у себя дома.

Но все произошло в мгновение ока: Иннокентий Васильевич быстро повернулся и почти выбежал из комнаты, захлопнув за собой дверь.

Я бросился за ним.

– Иннокентий Васильевич, что случилось? Почему такое бегство?

Я силой удержал его за плечи. Он сразу как-то обмяк и покорно остановился.

– Только сперва закройте окно.

На мой повторный вопрос о причине его странного бегства, он усмехнулся своим перекошенным ртом и, конфузливо запинаясь, тихо заговорил:

– Да так, пустяки... Ничего особенного... Я не люблю...

– Чего вы не любите, Иннокентий Васильевич?

– Ну что ж, пойдёмте к вам, – вместо ответа сказал он. – Только сперва закройте окно в вашей комнате.

Я подумал, что мой гость, заботливо охранявший свое здоровье от всякой болезни, начиная с серьезной инфекции и кончая обыкновенной простудой, боится сквозняков. Но почему бы ему попросту не сказать мне об этом, вместо того, чтобы пускаться в такое бегство? Иннокентий Васильевич никогда не спешил, ходил медленно – ему мешал какой-то дефект в ноге.

Только после того, как я закрыл окно, гость вошел в комнату и молча сел в предложенное мной соломенное дачное кресло. Мне показалось, что он сконфужен.

Я выжидающе молчал.

– Извините меня и за вторжение, и за бегство, – помолчав немного, начал он. – Я знаю, вам покажется странным... Но у всякого свои странности... Я не выношу... занавесок на открытых окнах... Да... А особенно, когда на улице ветер... Он так зло вздувает ткань, она трепещет, бьется, и мне кажется, что в комнату врывается какая-то сила, – сила, с которой человеку не справиться... разящая сила... или карающая... от нее нет ни талисманов, ни заклятий, и для нее нет препятствий... А сейчас

вот... Я открыл дверь – и эта сила устремилась на меня, прямо на меня! – Ах, да вы ничего не поймете! В лучшем случае сочтете меня за сумасшедшего...

И, опустив голову, добавил:

– Вселенная создана совершенною, а человек только наносит ей раны... Только портит... Мусульмане прекрасно поняли это. Их орнаментальное кругообразное изображение вселенной всегда имеет какой-нибудь недостаток: в мозаике – незавершенная выкладка камней, в вышивках – недошитый орнамент или не доведенный до конца круг – ущерб, нанесенный человеком совершенному творению аллаха. Мы сами все ущербны, умножаем свои ущербы и ответим за это... Но никто ничего не понимает...

Трудно поддерживать такой разговор... Опять наступило длительное молчание. Но нельзя же молчать бесконечно. Видимо, Иннокентий Васильевич и сам понимал это.

– Ну, хватит, пожалуй. Переменим тему разговора. – И, повернувшись к полке с книгами, добавил: – Вот посмотрю, какие у вас книжки тут стоят, – стал бегло просматривать их названия, взял одну из них и удивленно вскинул брови:

– Коцебу? Это об убийстве Павла Первого? Зачем это вам здесь?

– А что?

– Да во-первых, это же библиографическая редкость, и тащить ее из города на дачу и обратно – не рекомендуется. А во-вторых, насколько я знаю, тема вашей повести никак не связана ни с Павлом, ни с Коцебу?

– Правильно. Это простое недоразумение. Я просил жену брата привезти с моей городской квартиры несколько книг, а она нечаянно прихватила и эту.

– Да, странные совпадения... – задумчиво обронил мой гость. – Вчера я как раз ехал мимо крепости... Нужно было на-

вестить Ростовского, переводчика... Он на Каменноостровском живет. Хотел было от него к вам махнуть... Так вот, проезжал мимо крепости, вспомнил Павла Первого, а он меня у вас и встречает... И вот ветер из-за занавески!

Иннокентий Васильевич поежился, как от сильного холода.  
– И этот ветер из-за занавески...

Я хорошо знаком с Ростовским, но ни разу не слышал у них имени Иннокентия Васильевича. Зачем ему понадобилось в такую рань ехать к ним? Вот и сейчас-то часы показывали половину одиннадцатого утра! Это **сегодня**. А он же говорил, что был у Ростовских **вчера**. Путаница в голове – все перемешалось: и часы, и дни! Что это с ним? Или действительно его психика сдвинулась в непонятном направлении? Я часто слышал его публичные выступления, четкие, точные, документированные; слышал антирелигиозные доклады (он был членом президиума общества «Безбожник»), и эти доклады никогда не были дешевыми агитками или общими местами, – он говорил глубоко эрудированно, но доступно для любой аудитории, умело вводя в свою речь литературные или документальные иллюстрации. Единственным недостатком была монотонность речи и ее легкие дефекты, – но его слушали все и с неизменным интересом, засыпали вопросами... Убежденные доклады ученого, одинаково владевшего и анализом явлений, и их синтезом... А-те-ист!.. И... разящая сила из-за оконной занавески!

Мне показалось, что Иннокентий Васильевич обеспокоен произведенным на меня впечатлением. Он пристально поглядел на меня, потом вздохнул и заговорил спокойно, хотя и несколько напряженно. «В изъяснительном наклонении», как сказал бы какой-нибудь старый грамматик:

– Любопытная личность – Павел Первый. Коцебу, конечно, старается примирить непримиримое, создать какое-то единство и оправдать всех. И самого Павла, и Палена, и Алексан-

дра Первого. Кушанье, приготовленное ловким царедворцем. А шипы так и вылезают из его каркаса.

– Да, время, полное противоречий, и люди в нем противоречивы... каждый в отдельности и все вместе взятые, – откликнулся я. – Ланжерон назвал это время «прискорбно-замечательной эпохой». Тиран и блюдолизы.

Иннокентий Васильевич поморщился.

– Так какое же в этом особое противоречие? «Прискорбно-замечательная эпоха», – с явной иронией проговорил он. – Нет, мелко все это. Если уж говорить о тиранах в русской истории, то в первую очередь об Иване Грозном. Вот где противоречия до самого дна души! По первой, самой мелкой клевете, по случайному неудачно или не под настроение сказанному слову – пытки и казни сотен людей! Сотен! А потом – бессонные ночи, заубойные богослужения по казненным, покаянные молитвы за самого себя – помилуй, боже, преступного раба твоего, царя Ивана, – и земные поклоны с битьем головы о каменные плиты, и весь лоб в синяках от этих поклонов... Вот где трагедия большой талантливой души! Мне кажется, Алексей Толстой (Константинович, поэт) был бы более прав, если бы знаменитые слова «О боже! За что меня поставил ты царем? – вложил бы в уста не царю Федору, а Иоанну Грозному. А народ в смятении говорил: «прогневали мы господа»...

И после короткой паузы добавил взволнованно:

– А если вдуматься поглубже, ни Иван, ни другие крупные правители – не главные виновники. Почти все они были жертвами понятия государства и государственности. И Петр казнил царевича Алексея по той же формуле «я должен». А виноваты те, которых вы мягко называли «блюдолизами». Но не только угодники и подстрекатели, или, как их называла старая Русь – «ласкатели», «согласники» и «наустители», но

и «потаковники», – те, кто мог отвести незаслуженную кару, но не отвел – из трусости или из иных побуждений; кто мог бы не содействовать злодеянию, но содействовал – молчанием, недомолвками, простым пожатием плеч. Помните «Одеты камнем» Ольги Форш? Вот кому следовало бы бить лбом о каменные плиты!

Иннокентий Васильевич даже задохнулся. И вдруг обронил почти шепотом:

– А может быть, и били...

Моя кузина, большой знаток английской литературы, как-то заявила:

– Шекспир сказал о человеке все. После него литература только повторяет его прописи.

Ну, оставим это убеждение за моей кузиной. Я не хочу спорить, может быть, и так. Но что он об Иннокентии Васильевиче сказал пару – слов это факт. Возьмите Макбета:

...Ты хочешь в чести жить, оставшись чистым, Играя честно, выиграть обманом...

а в результате

...Милей судьбы с убитым поменяться,

Чем страхами, убив его, терзаться...

и еще:

...Молитвы жаждал я, но комом в горле

«Аминь» застряло...

В общем, – «Может быть, и били...»

Это, доктор, коллизия – шекспировская...

Он поднялся с места, как будто испугавшись, что занавесочка его души тоже слегка приподнялась передо мной от ветра, с которым «человеку не справиться».

Я пошел проводить его и предложил прогуляться по аллее: день был чудесный.

– Нет, – ответил он, – я не люблю гулять. И созерцание природы с ее прелестями – не в моем вкусе. Мое бытие – в моем кабинете, а улица – неизбежное средство общения между двумя зданиями.

Мы распрощались. Не знаю, у кого из нас душа была в большем смятении. И я так и не понял, зачем он приходил ко мне.

Как-то осенью того же года я навестил моего давнего знакомого и друга, одного из виднейших русских переводчиков нашего времени Михаила Сергеевича Ростовского. Это – высокий, представительный человек, некрасивый, но полный необыкновенного обаяния, покоряющего людей с первых же минут знакомства с ними. Приветливый хозяин, интереснейший собеседник, он стал одним из центров литературной жизни Ленинграда, непререкаемым авторитетом, – молодежь тянется к нему, чтобы услышать его суждения, критику и советы. Литературная братия часто собирается у него по вечерам. Но я предпочитаю встречаться с ним один на один, когда его изысканная речь, блески остроумия и оригинальные, меткие сравнения принадлежат только мне. Эгоизм? Да, конечно, но, ей-богу, простительный эгоизм!

На этот раз в нашей беседе приняла участие и его прелестная жена, до седых волос сохранившая безупречный профиль камеи, невольно приковывавший к себе взгляд, живость и самостоятельность ума и трогательную преданность и любовь к мужу.

По ходу нашего разговора Татьяна Григорьевна вскользь упомянула, что встретила сегодня в одном из книжных магазинов Ольгу Дмитриевну Форш, с которой оба они поддерживают дружеские отношения.

Ольга Форш... от кого я недавно слышал это имя? Ах, да!

Мое напряженное раздумье не ускользнуло от хозяйки дома.

– Что это вы так нахмурились, дорогой друг? – спросил Михаил Сергеевич.

Я немного смутился, но объяснил тут же: бывает, мол, такое назойливое желание вспомнить что-то, ускользающее из памяти, – чувствуешь, что это «что-то» совсем близко, вот-вот поймаешь его на крючок, – а оно опять скользит в сторону... Я прибавил, что старался, делал попытки восстановить в памяти, кто мне недавно говорил о Форш – вспомнил в последнюю минуту: Иннокентий Васильевич.

Жена моего друга рассмеялась:

– Вот уж к слову пришелся ваш Иннокентий Васильевич! Он дня два назад приходил к нам... впрочем, пусть вам все расскажет Миша, у него это лучше получится, чем у меня!

«Появление почти таинственное, по меньшей мере странное», – процитировал Михаил Сергеевич кого-то из французов, произведения которого переводил в то время. – Я очень люблю Иннокентия Васильевича, он ведь хороший, только должен признаться, непонятный какой-то.

Михаил Сергеевич предложил мне папиросу и закурил сам.

– Хороший? Не знаю, – покачала головой его жена. – Эти его «непонятности» и «странности», как ты выразился, плохо сочетаются с эпитетом «хороший». И прежде всего, он трус. Панический трус. .

– Ну полно, Таня, уверяю тебя – он хороший, – остановил ее муж. – У каждого свои слабости!

– Так вот, друг мой, продолжал он. – Помните, какой был вечер два дня назад? Один ветер чего стоил! Ведь наводнения ждали! Я возвратился под вечер после репетиции пьесы Лопе де Вега в моем переводе и долго не мог прийти в себя. Холодно, знобко, весь отсырел в этом воздухе. Каша какая-то с неба валилась: дождь пополам со снегом. Таня меня долго отогревала и просушивала. Ну, пообедал, сел за письменный стол, ув-

лекся... Интересный автор – и литературный почерк сложный, хочется донести в переводе все эти изящные полунамеки, тонкий юмор, вообще драгоценное кружево его речи. Не заметил, как и время прошло. А за окном бушует! Хорошо, думаю, что репетицию не назначили вечером!

И вдруг – звонок. Взглянув на часы – без малого одиннадцать. Неприятно, знаете, стало. Время не очень спокойное, все случается. Таня пошла открыть сама. Я тоже вышел в прихожую. Таня спрашивает: «Кто там?», а в ответ тихий голос: – «Не беспокойтесь, отк'ойте, это я, 'окоткин Иннокентий Васильевич!» Знаете, как он «проглатывает» звук р? «'окоткин»?

Таня поспешила открыть, мы оба бросились к вошедшему.

– Иннокентий Васильевич, что случилось? В такую погоду! И так поздно!

Рокоткин, как будто, и сам удивился, как это он попал сюда чуть ли не глухой ночью: стоит посреди прихожей и оглядывается кругом. Весь мокрый, блестят на нем капли, а в руках большая круглая картонная коробка со специфически-петербургской фирменной маркой через всю крышку: «Изабелла Папэрнэ». Вы петербуржец, вам комментарии не требуются. Небось знаете, что заказать шляпу не у Изабеллы Папэрнэ считалось у наших дам дурным тоном.

И он шутливо подмигнул в сторону жены.

– Ну, положим! – перебила Татьяна Григорьевна. – Никогда я у этой Папэрнэ шляп не заказывала! Ты меня с кем-то путаешь, – с милой лукавинкой прибавила она. – Недаром ты употребил слово «дамы» во множественном числе!

– Ты, Танюша, вообще единственная во всем, – шутливо склонился перед ней муж, – даже в твоём отношении к знаменитой Папэрнэ!

– Ради бога, Михаил Сергеевич, – взмолился я, – продолжайте ваш рассказ! Это же потрясающе! Буря, наводнение, Иннокентий Васильевич и шляпа от Папэрнэ! Инфернальная история!

Михаил Сергеевич принял непринужденную позу в кресле.

– «Инфернальная история – адская история» – повторил он и добавил:

– Не шляпа, друг мой, а картонка, будем точны. Я хотел помочь ему раздеться – вижу, что человек не совсем в себе, – и попытался взять из его рук картонку. Но он вцепился в нее своими руками хорошо сохранившейся мумии и ни за что не хотел передать ее мне. Повторяет «я сам, я сам» – и нелепо кружится на месте. Как будто не знает, куда ее поставить. Наконец пригнул ее на стуле и разделся.

– Я к вам на минутку, – говорит тихо.

– Какое там «на минутку»! – запротестовал я. – Танечка, смастери-ка ты нам чайку, да налей стопочку чего-нибудь этакого Иннокентию Васильевичу, надо же ему согреться! У него руки, как лед!

– Стопочки не надо, – отрицательно провел рукой в воздухе наш гость. – Врачи не велят. А чайку – если будет милость хозяйки...

Таня ушла хлопотать о чае, а мы прошли в мой кабинет. Иннокентий Васильевич заботливо снял картонку со стула и понес с собой ко мне. Я невольно обратил внимание: человек вымок под дождем, картонка осталась суха: оберегал, укрывал чем-то, очевидно.

Как только мы сели, я – в моем кресле, он – на диване, держа Папэрнэ у себя на коленях – позор тому, кто об этом дурно подумает, – Рокоткин сразу заговорил торопливо, нервно, задыхаясь, но тихо, точно боялся, что кто-то войдет и помешает ему:

– Михаил Сергеевич, я к вам, как к другу. Как к одному из немногих людей, которым я верю без всяких ограничений.

Я молча поклонился.

– С просьбой. С великой просьбой.

– Готов служить, если это в моих силах и возможностях.

– О, я не просил бы о невозможном, – быстро возразил он. –

Я очень прошу вас на некоторое время сохранить эту картонку с ее содержимым. Очень возможно, что я скоро возьму ее у вас. Но сейчас...

Он замолчал.

– Да с радостью, Иннокентий Васильевич, – ответил я. – Но... мне хотелось бы, чтобы вы правильно поняли меня и не приняли бы мои слова в обиду. Вы же юрист. Так будем откровенны по-дружески. Я ни одной минуты не предполагал и не предполагаю, что в картонке от Папэрнэ хранится кило динамита или слитки золота из государственного банка. Но ката в мешке не покупают. Я должен знать, что я беру на хранение. Все мы под богом ходим, и я в случае чего должен что-то ответить на вопрос, что в этой коробке, – и ответить точно, а может быть, дать убедительные объяснения.

– Ну, вам опасаться нечего...

– А вам? Насколько я знаю, ваша репутация безупречна. И, тем не менее, вы приносите мне что-то на сохранение. Я не отказываюсь, я только хочу знать, что я беру.

– Да, да, – закивал он головой, – вы правы, разумеется. Видите ли... Там... епископическое облачение: сáккос, омофóр, пóручи, мѝтра, панагѝя, пáлица...<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Сáккос, омофóр, пóручи, мѝтра, панагѝя – парадное, украшенное золотым шитьем облачение (разной длины одежда) высшего духовенства. Кроме того, к одной из одежд (более длинной) прикрепляются колокольчики, как древний, уже давно устаревший

Я чуть рот не открыл от удивления и, честно говоря, растерялся, Да, этот товар не из сейфов госбанка и не из конспиративного подполья!

– Та-а-ак... – только и смог протянуть я.

– Это семейная реликвия – облачение моего пра-пра и, кажется, еще раз пра, в общем прадеда. По косвенной линии, разумеется. Святого Иннокентия епископа Иркутского. Я ведь иркутянин, как и все Рокоткины... Со времени его иркутского епископства в каждом поколении нашей семьи кто-нибудь получал его имя. И мне выпало на долю носить его. А вместе с этим именем передавалось посмертное благословение нашего предка-святителя: давалось на пожизненное хранение его облачение. После моей смерти оно перейдет к моему племяннику Иннокентию, сибиряку, потому что у меня детей нет.

– Я все еще не мог найти слов для ответа ему, – продолжал рассказывать Михаил Сергеевич, – но этого и не требовалось: начав говорить, мой гость спешил высказаться до конца и даже говорил вещи, без которых деловая часть нашего разговора могла бы обойтись. Его, что называется прорвало. Я не перебивал, а слушал.

Он весь вытянулся ко мне, как будто передавал страшную тайну, и сказал торопливо, почти шепотом:

– Вы знаете... Я ведь тайный старообрядец...

Это прозвучало у него так, точно он сообщил мне – «я тайный белогвардеец», или «член монархической организации».

---

символ того, что всех верующих Христос призывает к молитве звоном колоколов (уже давно это делается с колокольни). Пáлица – посох, вверху которого прикреплены две змеи, изогнувшиеся и устремившие свои головы с жалами навстречу друг другу. Змея считалась символом мудрости, и даже значок об окончании Пушкинского лица имел в миниатюрной форме этот символ двух змей. (Примечание автора).

– И «аллилуйю»<sup>3</sup> двою, и «двуперстием» себя осеняю... А что я это в тайне храню, то ему на это обижаться не приходится, ведь он... тоже...

– Виноват, – перебил я его, – кому это «ему» не приходится обижаться на то, что вы двое аллилуйю и креститесь двумя перстами, а не тремя, а притом втайне? Племяннику вашему?

– Да нет же, святому предку моему, Иннокентию Иркутскому, – досадливо поморщился живой тезка святого. – Ведь он сам был приверженцем старой веры. Но... – гость мой беспомощно развел руками – старообрядцу ходу не было. Переметнулся на вашу сторону, к никонианам<sup>4</sup>...

Михаил Сергеевич принял светски-элегантную позу и нарочито-серьезно вставил в свой рассказ:

– Что делать, не умудрил господь! Я и не подозревал, что, когда меня крестили лет шестьдесят пять назад, я стал никонианцем! Мне даже жутко стало: а что, если быть никонианцем еще хуже, чем тайно исповедовать старую веру? Протопоп Аввакум, Иван Неронов – может быть, мне «тайно переметнуться» к ним? Однако, простите, отвлекся. Итак, мой гость сообщил мне, что Иннокентий Иркутский назло никонианам стал их канонизированным святым. А родичам заповедал втай-

---

<sup>3</sup> Слово «аллилуйя» обозначает – «хвала тебе, боже». В православной церкви это слово произносится три раза, а у старообрядцев – два («двоят» аллилуйю).

<sup>4</sup> «Никонианцами» или «никонианами» старообрядцы называли православных по имени патриарха Никона. В бытность свою патриархом он затребовал несколько древних списков православной веры и догматов и обнаружил в них целый ряд ошибок, искаживших на многие сотни лет правильное вероучение. Он сличил эти списки и по ним исправил бытовавшие на Руси искажения. Старообрядцы не признали их и посчитали нововведение Никона ересью. Так началась на Руси эпоха, называемая «эпохой раскола», а приверженцы ее – «раскольниками». (Примечание автора).

не хранить истинную веру. В 1727-м году рукоположен в епископы Иркутские.

– Тогда нельзя было иначе, еще раз пояснил Рокоткин. – Старообрядцам все пути закрыты были...

– Дорогой мой Иннокентий Васильевич, – говорю я. – Я согласен принять на временное хранение вашу семейную святыню. Но давайте сведем концы с концами: почему все это вы покрываете таким мраком тайны? И прежде всего, почему вы считаете, что картонка от Папэрне будет у меня в большей сохранности и безопасности, чем у вас, если это единственная причина, разумеется?

Иннокентий Васильевич нахмурился и поежился, как от холода.

– Узнаю моего Михаила Сергеевича, – сказал он наконец. – Ценитель слова. Прицепится к какому-нибудь словечку – и давай обыгрывать его в своей речи. Картонка от Папэрнэ! Картонка – дело последнее. Это – камуфляж, когда я перевозил реликвию от себя к вам. А у меня дома это облачение хранится в специальном ящике без всяких торговых марок.

Ну нелепость же! Почти ночь, погода адовая, темнота, дождь. Ехал Иннокентий Васильевич, несомненно, на извозчике, – их мало теперь, эта социальная прослойка исчезает у нас, кеба не наймешь, – но очень уж тайный старообрядец не любит трамваев, а идти пешком от Московского вокзала ко мне в конец Каменноостровского – нет, это исключено. Выискал-таки на улице где-нибудь Ваньку с кебом. И... камуфляж посредством покойницы Папэрнэ! Она-то наверняка крестилась дланью, если вообще когда-нибудь крестилась! Шокинг!

Гость мой снова поежился.

– Я сказал в начале нашего разговора, что без ограничений доверяю вам. И сейчас докажу, что говорил искренне. Прежде всего, потому что жду полного понимания и не жду

(Иннокентий Васильевич подчеркнул отрицание **не**) усмешек и подтруниваний. Должен заметить, что я не суеверен вообще. Вы знаете, как я отношусь к печальной памяти генералу Богдановичу, которого все называли « Великим Лицемером». Он шага не мог ступить, не зачуравшись, не застраховавшись от нечистой силы, не испросивши знамения у какого-нибудь картонного образка одесского фесенковского издания. Это мне чуждо. Но... есть вещи, которые я принимаю всерьез, особенно в наше трудное, сложное время, когда наше «я» подвергается большим испытаниям... На прочность... На стойкость... На выдержку... (и глубокий вздох). Вы знаете, что архиерейский саккос понизу обшит парчовой тесьмой с маленькими колокольчиками? Древняя символика. Надевая саккос при богослужении, архиерей даже одеянием своим, звоном колокольчиков якобы призывает людей к молитве и духовному общению... Ну, это, конечно, символ, колокольчики едва слышны дьяконам, которые «облачают» архиерея. Традиция, потерявшая начальный смысл. Но вот... последнее время... колокольчики на саккосо святого Иннокентия... звонят! ... сами... уложенные в ящике... Я их слышу!... звонят!!

Меня даже мороз по коже пробрал. Я никогда не видел Иннокентия Васильевича в таком... таком... волнении? – нет, какое тут волнение! – в таком мистическом страхе! История с картонкой петербургской модистки оборачивалась у него глубокой драмой, полной путаницы, гротеска пополам с мистерией! Я не решался ни задать ему вопроса, ни успокоить его. На меня смотрели совершенно пустые глаза, но ужас ощутимо стоял в них! Тридцатые годы нашего века! Советский Союз! Ученый!

Вы понимаете, мой друг, ну что тут скажешь? Сказать «галлюцинация слуха» или «просто саккос был неловко положен в ящике, и колокольчик звякнул» – значило обидеть Иннокен-

тия Васильевича или потерять его доверие, которым он вовсе не разбрасывался и которое ему было так нужно сейчас! Ведь по-человечески жаль его! Начать говорить «а почему вы видите в этом роковое предзнаменование? Может, колокольчик предвещает вам вышнюю милость?» – не умею я врать, друг мой, а особенно в таких бредовых ситуациях! Не получится. Наконец, сказать, что саккос, попав в руки никониан, возможно, поднимает такой трезвон, что никакой камуфляж не поможет, – издевательство, оскорбление больного человека, это недопустимо! Я просто повторил ему, что охотно беру на сохранение его реликвию, но добавил:

– Вы, милый Иннокентий Васильевич, не стали рассказывать мне все это, пока не ушла моя жена. Значит, я и ей не должен ничего говорить о содержимом? Но ведь – простите за повторение, которое вы отметили, – картонке с маркой Папэрнэ гораздо естественней устроиться где-нибудь на антресолях в гардеробной, то есть в ведомстве Татьяны Григорьевны. Это меньше всего вызовет подозрений у кого бы то ни было.

– О, конечно, вы правы, – поспешил подтвердить Иннокентий Васильевич. – От Татьяны Григорьевны я этого не скрываю. А если я и начал разговаривать с вами в ее отсутствие, то только... на случай вашего отказа... зачем тогда было бы посвящать ее во все это?

Тут подоспела и сама Таня с приглашением к чаю. Вопрос с картонкой был быстро улажен. Она стоит на антресолях и, насколько я знаю, не звенит. А ведь если отбросить внутреннее состояние моего гостя и оставить костяк этого посещения, получается ерунда какая-то, ба-ла-ган!

Я, дорогой доктор, не выдержал и рассказал моим друзьям и о занавеске, из под которой врывалась разящая сила, и о томике Леонида Андреева, с надписью и глоссами, и о тиражах и

блюдолизях, и о покаянных молитвах и битье лбом о каменные плиты.

– Странно... очень странно, – покачал головой Михаил Сергеевич. – Такой хороший, мягкий человек и... такая непонятная одержимость!

– А по-моему, ничего непонятного нет, – вставила свое слово Татьяна Григорьевна. – У твоего хорошего, мягкого человека нечистая совесть. Этим объясняются все его странности. Конечно, хорошо уже одно то, что эта совесть его мучит, у иных ее вовсе нет. Ну, а он повторяет своего святого тезку, только тот «переметнулся» для карьеры, из честолюбия, «иначе тогда ходу не было», а этот творит какие-то дела из животного страха: как бы его не задело.

– Ну вот, Танечка, и ты туда же! Только и слышу о нем подобные отзывы! А где факты?

– Если бы факты были на виду, то и сам он сразу перестал бы быть непонятным: или яростно защищался бы, или просто обходился молчанием эти темы!

Внутренне я не мог не согласиться с доводами Татьяны Григорьевны. Ведь эти мысли и мне приходили в голову, но она сформулировала их так четко, так убедительно, как будто подвела неоспоримый итог всему, о чем не раз думал я. И сформулировала без запальчивости, без презрения или гневного осуждения, а спокойно и грустно, точно констатировала печальный факт.

Я без конца вспоминал слова Рокоткина: ... «виновны... те, кто мог бы отвести незаслуженную кару, но... не отвел: кто мог бы не содействовать злодеянию, но содействовал... Вот кому следовало бы бить челом о каменные плиты!»

И его почти утверждающий шепот:

«А может быть, и били...»

В последующие годы я встречался с Иннокентием Васильевичем довольно редко, да и не искал этих встреч. Рассказ Михаила Сергеевича, действительно, подвел какие-то итоги в загадочной характеристике нашего общего знакомого, а случайные и притом короткие встречи с ним не давали мне пищи для размышлений. Только один раз, встретившись с ним на улице и недолго идя попутно, я – сознаюсь, спровоцировал разговор об Иуде. Между прочим, я вскользь заметил, что, мол, недавно прочел у одного классика в какой-то его статье слова: «За последние годы у Иуды появилось много адвокатов» или что-то в этом роде. Иннокентий Васильевич с пренебрежением махнул рукой.

– Ах, мало ли что сказал этот ваш классик! Разве он авторитет? Он во многом ничего не понимает, а берется судить обо всем!

– А сами вы судите Иуду как юрист, или как человек? – невольно вырвался у меня вопрос. В ту же секунду я спохватился, но «слово – не воробей, вылетит – не поймаешь», было уже поздно: Иннокентий Васильевич метнул на меня таким взглядом, который, как будто, захлопывал дверь между нами. Я хотел поправить дело – не в моей природе ранить человека, а особенно, если он уже ранен.

– Я уточню мои слова, – поправился я. – Следовало бы сказать не «человек», а «христианин». Вы становитесь на точку зрения христианского всепрощения?

– Христианская церковь никогда не прощала Иуду, – сухо возразил он. – Да и не только церковь: она-то как раз много напутала за две тысячи лет. И сама же первой выступала в роли Иуды. Но в самом Евангелии сказано, если в этом месте оно не искажено церковью: «горе же человеку тому, им же сын человеческий предается. Добрее было бы ему, аще бы не родился человек тот».

Усмехнувшись уже более мягко, он добавил:

– Удовлетворяет вас мой ответ?

Я рассмеялся, надеясь окончательно сгладить возникшую между нами шероховатость.

– Да, собственно говоря, ответа я не получил. Он повис где-то между юристом и человеком-христианином.

– Бывает, бывает, – с явной иронией протянул он и распрощался.

Выше было сказано, что я встречался в те годы с Иннокентием Васильевичем редко. Зато слышал о нем часто и много. Следуя мудрому примеру Михаила Сергеевича, я при этих рассказах твердил иногда вслух, а порой – самому себе: а факты? Где же факты?

И все-таки получалось довольно странно. Иннокентий Васильевич тогда последовательно возглавлял два крупных учреждения гуманитарного направления. И в этих учреждениях стали исчезать люди – опытные старые работники, стоявшие как будто вне подозрений. В дальнейшем эти люди отправлялись в продолжительные путешествия, или просто их следы терялись. Иннокентий Васильевич ахал, мрачнел, ходил куда-то «хлопотать», возвращался и, бессильно опускаясь в кресло, упавшим голосом говорил:

– Бесполезно. Ничего не понимаю...

Самым замечательным было то, что, когда он перешел во второе учреждение, в первом исчезновения прекратились, а во втором начались. Нужно ли говорить, какая слава пошла о потомке святителя Иркутского? И возразить-то... ну а что возразишь? Тут уж факты. Ведь трудно постоянно ссылаться на случайные совпадения!

Правда, было одно обстоятельство, на которое всегда ссылались те, кто считал его «добрым», «хорошим», «честным» и... «прямым»: как только он получал назначение в новом

учреждении, там или одновременно с ним, или вскоре после его назначения получали места никому не известные лица, не специалисты в области работы этого коллектива, получавшие административные должности. Вот, мол, кто истинные вино-вники!

Ах, бросьте! «Картонка от Папэрнэ»! За что же винить камуфляж?.. «Виновны те, кто мог бы отвести незаслуженную кару, но не отвел... кто мог бы не содействовать злодеянию, но содействовал...»

Сам Иннокентий Васильевич был все так же тих, так же медленно ходил, припадая на одну ногу, и на вопрос о том, как он поживает и как его здоровье, от малознакомых отделивался общими фразами, а близким людям и тем, кого он считал своими «друзьями», отвечал едва слышно:

– Жить трудно. Тяжело. Время сгущается над нами...

А это время шло и шло вперед, сгущаясь большой сизой тучей. То тут, то там вспыхивали молнии.

Иннокентий Васильевич директорствовал во втором учреждении. Исчезали работники. Пропал старик, служивший там около пятидесяти лет, большой специалист и знаток дела, занимавший очень скромную должность. Он всю жизнь отмахивался от защиты диссертации, говоря, что для него важно не получение степени, а знание дела. Его старались соблазнить повышением оклада и должности, что, несомненно, последовало бы после защиты. Иннокентий Васильевич вызывал его к себе, убеждал «не донкихотствовать», но тот отвечал, что ему достаточно и его ставки, а большая должность – большая ответственность, он старик – ему не под силу.

Пропала какая-то незначительная на должности женщина вдова, жившая с двумя детьми...

Кругами ширились слухи.

На второй год после своего директорства Иннокентий Васильевич принял на работу нашу общую знакомую, молодую женщину, о которой говорил – «она по'азительно способна и акку'атна, ей можно дове'ить любую 'аботу, сп'авится». И поморщившись, добавлял: – «Только очень уж п'ямая, катего'ичная, не по нашим в'еменам».

Девушка, действительно, «справлялась», и Иннокентий Васильевич тянул ее вверх. Ей были доверены особо ценные книжные фонды учреждения, а также разборка и классификация нового ценного фонда, поступившего из какого-то дворца. Жила она одна с больной матерью, своей семьи не имела и увлеченно отдавалась работе, посвящая ей не только служебное время, но и все досуги.

Я как-то встретил ее на улице и стал расспрашивать о работе.

– А не боитесь вы ответственности за такие ценности?

Она пожала плечами.

– Волков бояться – в лес не ходить, – ответила она. – Если бы я увидела, что не справлюсь, я отказалась бы немедленно. А что касается ответственности за фонд, так ведь я отвечаю вообще за любую бумажку, принадлежащую этому учреждению. Раз я «хранитель», я храню с одинаковой тщательностью решительно все. А кроме того, мне просто интересно. И результатами моими все довольны.

– И Иннокентий Васильевич?

– Понимаю, что вы имеете в виду, – кивнула она головой. – И ответчу: он – в первую голову. И вообще интересуется, что и как я делаю. Очень помогает мне своей начитанностью. Ходячая энциклопедия какая-то. Недавно рассказал про уникальный экземпляр талмуда, хранившийся у нас в Ленинграде в библиотеке Римско-Католической академии, а может быть – семинарии, я в этом плохо разбираюсь. На Васильевском острове,

где теперь больница имени Веры Слуцкой, знаете? Ну, об этом талмуде и о ксёндзе Пранайтисе. В его передаче – интереснейший политический детектив!

– Ну, что ж, желаю удачи, и... позвольте мне дать вам совет: будьте очень осторожны и внимательны. Малейшая промашка – вы в ответе.

Больше я не видел ее в течение двадцати лет.

По рассказам лиц, работавших в одном отделе с нею, история ее исчезновения предстала передо мной в таком виде:

Однажды, придя утром на разборку фонда, она увидела, что с двух шкафов сорваны печати и целого ряда книг в них не хватает. Она бросилась к коменданту, к дежурным, остававшимся на ночь, – никто ничего не знал. Когда пришел Иннокентий Васильевич, она ринулась к нему.

Он даже не дослушал ее до конца:

– А что вы так волнуетесь, Елена Владимировна? – поморщился он. – Книги не пропали, их взяла с моего ведома товарищ Берш. В этом ничего страшного нет.

– То есть как это «ничего страшного нет»? Ведь они уже внесены мною в инвентарь, а наличие их подтверждено в инвентаре ученым секретарем и двумя сотрудниками. Пусть Берш выдаст мне официальную справку с перечнем всех взятых книг, а вы подтвердите письменно, что сделано это с вашего ведома.

– На этом настаивать не надо, Елена Владимировна. Да и взятые ею книжки не сто́ят таких мер.

– Это мне безразлично, – возразила девушка. – Я хочу иметь оправдательные документы. А мотивы изъятия этих книг из фонда, если хотите, можете мне не сообщать.

Иннокентий Васильевич весь подтянулся.

– И не к чему было такой шум поднимать: дежурные, комендант... Подождали бы меня, – сказал он холодно, почти резко.

– Я вас не узнаю, Иннокентий Васильевич, – опять запротестовала девушка. – То вы говорили мне, что я должна хранить все как зеницу ока, даже ключей никому ни от одного шкафа не давать, а теперь какими-то ключами из-под печатей берут книги, я даже не знаю сколько и каких, потому что часть я могу проверить по инвентарям, а часть я еще не вносила туда, ведь разборка не кончена – и вы предлагаете мне не обращать на это внимания и молчать!

– А я считаю, что так будет лучше прежде всего для вас, Елена Владимировна.

Зло так сказал. И прибавил:

– И вообще меня следует слушаться. Это тоже будет для вас лучше.

Ну, а она тут же попросила у него листок бумаги и, не уходя из кабинета, написала мотивированное заявление с просьбой освободить ее от разборки нового фонда и оставить, как прежде, на старых фондах.

Директор прочел заявление. Его всего перекосило. Он тут же разорвал бумажку на мелкие кусочки и сказал:

– Никаких заявлений вы мне не подавали. И напрасно уходите с разборки. Принуждать вас я не имею права, это была дополнительная нагрузка и притом бесплатная. Хорошо, оставайтесь на старых фондах, а ключи передайте...

– Кому? Ученому секретарю?

– Только мне, – отрезал он. – Притом без всяких бумаг.

Она отдала ключи и новым фондом больше не занималась. О своем разговоре во всех подробностях рассказала одной из сослуживиц, с которой была наиболее близка.

Та, докладывая директору о ходе работ своего отдела, спросила, почему такая-то ушла с разборки фонда, которую, кроме нее, и поручить-то некому. Он мотнул головой, как будто ему был тесен воротничок.

– По собственному желанию, – досадливо ответил он. – Я ее уговаривал не делать этого, но она упряма. Ну, что же, хуже будет не фонду и не мне, а ей!

– Меня это удивляет, Иннокентий Васильевич, возразила его собеседница, – я хорошо знаю Елену Владимировну, она не из капризниц, которые берутся за работу, а потом, неизвестно почему, бросают.

– Короче говоря, она вам рассказала обо всем, и, с вашей точки зрения, она права?

– Я поступила бы так же, Иннокентий Васильевич.

– Ах, как вы все легко рассуждаете, – желчно ответил он. – Она сама себе яму копает. А потом, если что-нибудь случится, буду опять виноват я?

– А что может случиться? Она же мотивировала свой уход – и очень основательно.

– Никакой мотивировки я не знаю. У меня никаких документов об этом нет. А что, разве эта девочка наплела вам что-нибудь о письменных мотивировках? Ловко! И потом... к ней приглядываются... и ее научный руководитель на примете... и с происхождением у нее неблагополучно...

– Кому вы это говорите, Иннокентий Васильевич? – грустно и вместе с тем негодуяще оборвала его собеседница, которая по мужу своему была графиней. – Ну что ж, как говорится, вопрос исчерпан...

И она вышла из кабинета.

После этого девушка пыталась поговорить о своем положении и в профкоме, и с заведующим сектором, и в других местах, давала им объяснительные записки, но, по ее собственному выражению, все они «смотрели на нее пустыми глазами Иннокентия Васильевича» и говорили, что объяснительных записок им не нужно, все понятно и так.

Через четыре дня девушка не пришла на работу и больше вообще не появлялась.

Она жила в том же доме, где жил Иннокентий Васильевич. Когда я прежде засиживался у него допоздна, этот огромный дом весь казался уснувшим. Не светило ни одно окно.

В ту ночь, которая предшествовала ее исчезновению, – я убежден в этом – в каменной громаде дома светились окошки на пятом этаже, где жила она, и зеленым, ядовитым светом поблескивали окна в кабинете Иннокентия Искарюта. Не может спать спокойно нечистая совесть...

Стояла зима – неровная, злая. Город то леденел, скованный морозом, то весь оттаивал, расплзался, темнел, а на смену оттепели выпадал мелкий снежок, мчались поземки, взвиваясь вверх и засыпая колючей пылью лица прохожих. Дул ветер, дышать было трудно.

Как раз в один из таких неприглядных, вьюжных вечеров я проходил по улице Марата, возвращаясь с совещания. Сквозь снежную пелену передо мной предстал силуэт старообрядческой церкви. Там шло богослужение – завтра был праздник. Когда двери церкви открывались, впуская и выпуская молящихся, из храма доносилось монотонное уставное пение и видна была темная масса прихожан, едва освещенная лампадами и свечами.

Не знаю, почему я вошел туда. Я никогда не бывал на старообрядческом богослужении, – не могу даже определить, любопытство ли толкнуло меня, или уж очень тоскливо и метельно было на улице.

Толпа стояла чинно и, несмотря на тесноту, соблюдала порядок. Я остановился у входа как раз посередине, но служитель-клирошанин слегка потеснил меня вправо, шепнув мне:

– Пожалуйте направо, на мужскую половину, а вход не следует загораживать.

Я вспомнил, что у них по старому обряду мужчины стоят с правой стороны, а женщины – слева, сконфузился и метнулся вправо.

Сначала я ничего не различал в полумраке церкви, потом все окружающее стало принимать реальные очертания. Я увидел иконы, паникадила, уставленные целым леском горящих свечей<sup>5</sup>, легкое поблескивание риз и стихарей.

Недалеко от меня, несколько впереди и еще правей, стоял высокий, худощавый мужчина. Я заметил, что он внимательно прислушивался и к возгласам священника, и к звонкому голосу канонарха и истово молился, становясь на колени. Потом он поднялся во весь рост и стал «обивать» земные поклоны раз за разом ...пять, восемь, десять, пятнадцать... я сбился со счета.

Богослужение подходило к концу. Человек, так самозабвенно молившийся, положил последний поклон, поднялся и повернулся к выходу. Я удивился: я слышал, что в старообрядческой церкви никто не выходит, пока священник не скажет последних слов – благословения, отпускающего верующих по домам. Но, конечно, могут же быть и исключения!

Человеку, только что отбивавшему поклоны, неизбежно следовало пройти мимо меня. Он пробирался тихо, с опущенными глазами.

Поравнявшись со мной, он поднял веки. Наши глаза встретились.

Передо мною стоял Иннокентий Васильевич, весь съежившийся, жалкий и растерянный. Я молча поклонился ему.

Он ответил так же. Я шепотом прибавил:

– Пойдемте, все уже кончилось.

---

<sup>5</sup> В старообрядческих церквях электричество тогда не допускалось: только восковые свечи. (Примеч. автора).

На секунду он остановился у самых входных дверей, еще раз перекрестился двумя перстами и трижды поклонился оставшимся в церкви: вперед (к алтарю), направо и налево. Молящиеся ответили ему молчаливым поклоном.

Мы вышли. Снег шел густо, торопливо, метельно...

Мне казалось, что Иннокентий Васильевич внутренне нащупывает меня: ведь о своем «тайном» вероисповедании со мной он не говорил ни разу... Если персонажи, о которых мы беседовали, перевести на язык Евангелия, истории и литературы, он говорил о пилатах, остающихся в стороне с чистыми руками, об иудах, малютах, Яго и просто палачах... Но ведь и этого много!.. А если... Михаил Сергеевич?! Мы знакомы с ним оба... что если в разговоре... Ну и что же?.. Все мы порядочные люди...

Вдруг он весь вытянулся, и я скорее почувствовал, чем увидел в снежном вихре его напряженное лицо... Да, да, он вспомнил, что говорил мне худшее! Он говорил, что всем этим пилатам и прочим пособникам зла следовало бы бить лбом о каменные плиты, потому что они больше, чем палачи, виновнее, чем палачи... А сейчас...

Он овладел собой и, по привычке криво усмехнувшись, проговорил:

– Вот... любопытно стало, как это у староверов... Я интересуюсь сектами... Зашел посмотреть...

Ой, какая грубая работа! В этой топорной выдумке я не узнавал Талейрана, Макиавелли и прочих тезок Иннокентия Васильевича.

– А вы давно зашли? Я вас увидел уже уходя, – небрежно бросил он.

Ага, это уже другое дело! Прямое попадание! Подразумевается: а ты видел, как я молился? Как бил поклоны?

Ладно, успокоим его!

– Нет, – ответил я, – только успел войти, а вы уже выходите.

Но какой-то бес все же толкнул меня:

– Оказывается, вы, Иннокентий Васильевич, хорошо знаете их обычаи: я, вот, посреди входа встал, никому не кланялся, меня даже «пропихнули» вправо, и у выхода я тоже столбом стал, а вы натрое поклонились, и вам ответили!

Не клюнуло. Мой собеседник ответил уже спокойно:

– Так и до меня люди входили и выходили. Я видел, что и как они делали. Повторил. Мое правило – не обижать, не оскорблять чувства верующих. Любой религии.

**Да, да... Все и так понятно. Тут и камуфляж не требуется!**

Почти через год исчезнувшая девушка появилась на несколько дней, чтобы собрать вещи и двинуться в далекий путь. На работе она, конечно, и не появилась. А дома, где они жили оба, – и она, и Иннокентий Васильевич, – они столкнулись в воротах лицом к лицу. Что-то похожее на улыбку передернуло его лицо, он протянул руку. Девушка руки ему не подала, а на него взглянула прямо, без улыбки.

– Позвольте, я помогу вам донести пакеты, – нашелся он. Ведь глупо же было оставаться в положении человека, которому не подадут руки! – Вы, слава богу, совсем... домой?

– Благодарю вас, Иннокентий Васильевич, пакеты я донесу сама, – сухо отказалась она. – А что касается «совсем домой», то отвечу: нет, я уезжаю.

– Куда?

Она назвала место своего назначения. Иннокентий Васильевич оживился.

– У меня там есть знакомства, они могут вам пригодиться. Вы можете от моего имени обратиться...

– Благодарю вас еще раз, люди везде живут, как-нибудь устроюсь.

– Да, все мы под богом ходим, никто ни от чего не гарантирован...

Она горько усмехнулась.

– Ну, мне кажется, что вы-то можете проводить ночи спокойно, вас ведь так ценят...

И, помолчав, добавила:

– Как специалиста.

Он сделал вид, что не понял.

– А как же ваша матушка?

– Вот за маму мне страшно. Пока ей придется остаться здесь. А потом... Устроюсь там – возьму ее к себе.

– Да, да, конечно!

И, пожелав ей удачи и здоровья, он простился, уже не протягивая руки, и вышел из ворот.

За короткий срок сборов в путь девушка узнала от матери, что во время ее отсутствия Иннокентий Васильевич несколько раз заходил к ним на квартиру, расспрашивал о дочери, разводил руками и неизменно повторял одну и ту же фразу:

– Я не могу понять... Ну как вы сами-то думаете, Лидия Сергеевна, что могла сделать Елена Владимировна? За что такая строгая изоляция? Это при ее-то слабом здоровье! Одинока... Без передач... В чем же дело? Может быть, какие-нибудь общения нежелательные? Это очень серьезно! Расскажите мне!.. Все расскажите!..

– Войдет, как привидение какое-то, – говорила мать, – тихий такой, к словам не придерешься... Все как будто с сочувствием, а ощущение у меня такое, будто приходит он мне рану растравлять! Садист елейный! Я один раз не выдержала, прямо ему сказала: – «Уйдите, Иннокентий Васильевич, и не приходите больше! Не мучьте меня, оставьте в покое! Я и так еле жива! Ничего моя дочь плохого не сделала – и вы это знаете не

хуже меня! Зачем же расспросы? За что такая пытка?» Он только плечами пожал, голову опустил и ушел. Темный человек...

Дочь уехала, а мать, побывав в психиатрической больнице и возвратившись из нее, покончила с собой.

Я узнал об этом от Михаила Сергеевича. Покойная была женщиной религиозной и оставила записку, прося, чтобы ее похоронили по церковному обряду. Тела долго не выдавали, шло следствие. Потом, убедившись, что «все ясно», разрешили делать «что хотите» и похоронить «остальное».

Хлопоты на себя взяли племянница покойной по мужу и друг родителей девушки. В небольшую церковь пришло очень много народа: и родственники, и друзья, и бывшие сослуживцы девушки. Были и Михаил Сергеевич с Татьяной Григорьевной. Трагическую смерть почтили очень многие.

Я не пробирался вперед – там стояли давние друзья и близкие, Но и там, где остановился я, было тесно. Я видел только гору цветов, покрывавших гроб и его подножие, – была весна, цветы продавались повсюду.

Сзади раздался шепот: кто-то просил пропустить его к гробу. Я невольно обернулся – и обомлел: через толпу пробирался Иннокентий Васильевич с большим букетом бледно-розовых пионов, окруженных прозрачной зеленью.

Пришел? Ночью бил поклоны... И пришел...

Больше я никогда не видел его. В связи с моей литературной работой я несколько раз уезжал из Ленинграда, а потом началась война, эвакуация... Я надолго оторвался ото всех и от всего.

Только в 1946 году я окончательно вернулся к себе домой. Побывал у Михаила Сергеевича и от него узнал, что Иннокентий Васильевич скончался. Когда именно – не помню.

Михаил Сергеевич ни разу не «заступился» за него, не сказал, что «он же хороший», не спросил «где факты?» Вот уж

поистине мы «почтили его память молчанием», – но каким молчанием!

А еще через несколько дней после этого я встретил Ольгу Федоровну, которая буквально затащила меня к себе домой – в квартиру, где я когда-то бывал по вечерам у Иннокентия Васильевича.

Она провела меня в его кабинет – тот самый кабинет, который был полон необъяснимых противоречий, в совокупности своей составлявших странный ансамбль.

Я огляделся вокруг. Заметив это, Ольга Федоровна сказала: – Я оставила все, как было при нем. Я не хочу ничего менять здесь.

О, это я заметил сразу! Двуликий Янус, Анна Кашинская, Талейран, вышитая ткань с мусульманским изображением вселенной, журнал «Безбожник», Владимир Соловьев, даже злополучный томик Леонида Андреева, переживший на этом столе войну, голод, блокаду...

Только вместо ярко-зеленого абажура на лампе был молочно-белый.

Ольга Федоровна как будто сопровождала мой взгляд.

– Прежний абажур разбился, – пояснила она, хоть я ни о чем ее не спрашивал. – Это – временный. Сейчас трудно купить то, что хочешь.

Шторы были открыты. Скупой луч осеннего ленинградского солнца косо пробивался в комнату.

Как странно! Все, что раньше казалось мне почти мистически-таинственным и противоречивым, сейчас предстало передо мной в отчетливых, легко объяснимых контурах, где ансамбль перекрывал все кажущиеся противоречия и где большая психология хозяина так и проступала зрительно и осязательно.

Ну как же! Двуликий Янус, Талейран, Малюта Скуратов, магометанское изображение вселенной на ткани, Анна Кашинская...

Ольга Федоровна стала подробно рассказывать, как болел и умирал Иннокентий Васильевич. Знал, что умирает, мучился, а последние дни, несмотря на наркотики, непрерывно кричал от боли.

Она и не подозревала, какой последний штрих его сложной, стянутой тугими узлами биографии, сообщила мне:

– Он умер от рака языка.

Ну, вот и все любезный доктор. Я написал «что хотел», как вы сами предложили мне.

Я так и жду вопроса, почему я выбрал именно эту тему. Опять ищете, «где собака зарыта?» Вот, мол, куда его потянуло! Выбрал такое! Почему? Зачем?

Для вас, доктор, исключительно для вас.

Обратите внимание: я максимально точно нарисовал вам и внешний, и психологический портрет человека, которого никогда и никто не называл ненормальным, который лечился от всего, чего угодно, но только не от нервного или психического расстройства. Одни говорили, что он «хороший, мягкий, добрый», другие называли подлецом, предателем, двуликим Янусом и Иудой.

Значит, основа добрая, мягкая. Но им владел постоянный животный страх, ведший его по пути последовательных человеческих преступлений. Совершив их и здоровой частью своего я осознав, что он сделал, он бросался в другую психическую крайность – безудержную мистику, каялся, молился, «бил поклоны» и тщетно пытался спрятаться от самого себя и от «разящей силы».

И ни одного психиатра или психоневропатолога не было рядом с ним, с его бредом и его преступлениями! Правда, странно, доктор?

Его постоянно двоившийся образ и в моей душе рождает двойственное чувство: мне омерзительны его преступления и страшен его приниженный, вороватый вид с букетом цветов у гроба погубленной им жертвы; в то же время он жалок мне, как жертва своего страха и бредовых видений, мучивших его. Пилат, умывающий руки, которых отмыть не может. Макбет, у которого молитвенное «Аминь» комом становится в горле!

А сколько таких? Они идут, идут длинной вереницей мимо вас, не задевая, не вызывая вашего внимания и любознательности. Вы просто не знаете их. И они продолжают творить свои темные дела, после которых сами испытывают муки ужаса.

А вы, доктор, занимаетесь такими, как я. Простыми физическими больными, которым надоело болеть. Но ведь пытаюсь лечить таких больных вашими методами, вы попусту шаманствуете, доктор! (Я не прошу у вас извинения, вы же заранее дали мне индульгенцию – разрешили говорить в лицо все, что мне вздумается!).

Внимательно прочтите все, что я написал вам, и выпишите меня из вашей клиники. Чтобы я мог полечить мою язву.

1974

*Опубликовано: Никольская А. Б. Иннокентий Васильевич // Простор. – 1987. – № 9. – С. 133–152.*







# БИБЛИОТЕКА И СУДЬБА: А. Б. НИКОЛЬСКАЯ

Составитель  
Валерий Павлович Леонов

Оригинал-макет *Л.К. Соколова*

Подписано в печать 19.11.2019.  
Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 14,0.  
Тираж 100 экз. Заказ № 127.

Отпечатано в ООП БАН  
(199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 1)